ВРЕМЯ И МЫ

36
1978

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

● ПРОЗА СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА
● ЛИБЕРАЛИЗМ, ХРИСТИАНСТВО И ЕВРЕИ
● МЫСЛИ О СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
● ДВА ЛИЦА ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
● РУССКИЙ АВАНГАРД

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Комар и Меламид
ТРИ МИРОВЫХ ЛИДЕРА...

ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Четвертый год издания

Выходит один раз в месяц

36
1978 **ДЕКАБРЬ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН
ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЙОСЕФ ТЕКОА
ДОРА ШТУРМАН
ААРОН ЯАРИВ

Зав. редакцией Марина ГОЛУБЕВА

Представители журнала:

Англия	Александр Штромас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98. 1000 Berlin 47. t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474-9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (2031 387-05-97 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка - Давид Титиевский, апрель 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Двое и одна 5
Сергей ДОВЛАТОВ
Ищу человека 83

ПОЭЗИЯ
Анри ВОЛОХОНСКИЙ
Одно око 101
Е.Ф. САБУРОВ
Беспамятные наши души 104
Илья БОКШТЕЙН
Из причинности в чудо войдя 109

ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ, КРИТИКА
Арье ТАРТАКОВЕР
Либерализм, христианство и евреи 117
Дора ШТУРМАН
Хаос вместо демократии 127
Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС
Шампанское и политура 134
Наталия АГРОСКИН
Русский авангард 143

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Михаил ДЕМИН
Таежный бродяга 154

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
"Художник и общество" 200

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Сай ФРУМКИН
Не хочу быть хранителем Катастрофы 210

Коротко об авторах 215

"Время и мы" — 1978 год 216

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ДВОЕ И ОДНА

ГУДКОВ

Скажите, кого из литературных героев вы более всего презираете? Лично я — Ленского. Из-за этого глупца и идеалиста я чуть не срезался, когда сдавал на аттестат. Я так и написал в сочинении: "Ленский ничтожен и не заслуживает ни уважения, ни жалости".

Идеалистов я всегда считал дураками. Мог ли я представить, какой капкан подстроит мне жизнь? А начиналось все, как в сказке, которых, впрочем, я никогда не читал: "В некотором царстве, в рыбацком государстве жили-были вполне благополучный электрик Гудков и судовая девушка Марта". В ваших глазах любопытство? Наклевывается интересный материальчик? Вынужден огорчить — вам этот материал ни к чему, извините, не для печати. Да и с чего вы взяли, что я буду откровенен? Я, может быть, только прикидываюсь таким, чтобы возбудить любопытство, а сам возьму и выдумаю обычную романтическую баечку, из тех, что любит пе-

чатать "Рыбный брехунец". Да и вы сами будто станете откровенничать со случайным попутчиком, говорить о первой своей женщине. Вам и мысль такая в голову не придет.

А я готов... Я даже уже начал. А байки я только в детстве любил. Между прочим, увлекался детективами. По шестнадцать часов в сутки мог сидеть. Однажды так углубился в Конан Дойля, что не заметил, как задымила на плите картошка. Мать с вахты пришла — в кастрюле кучка золы. Так она мне эту кучку — прямо в физиономию, в воспитательных соображениях. Вот и судите после этого, нужна ли людям романтика! Лично я к ней изрядно поостыл. И, вернувшись из армии в Мурманск, отлично знал, чего мне недостает: во-первых, денег на кооператив и, во-вторых, института и высшего образования.

Не думайте только, что я был таким уж железобетонным субъектом и вообще не замечал прекрасного пола. В школе у меня был даже роман. Но просто прекрасному полу я отводил в жизни определенное место, не в партере, а чуть повыше. Как и во всем прочем, я имел тут вполне сложившийся идеал. Свою будущую подругу я видел студенткой мединститута или педфака, не старше третьего курса. Старше, как полагал я, все испорченные. Обязательно блондинкой и обязательно хоть немного напоминающей знаменитую Карлу Доннер из кинофильма "Большой вальс".

Та, что я встретил на плавбазе "Маточкин шар", имела весьма отдаленное сходство с девушкой моей мечты, да и сам я довольно скоро стал отличаться от прямодушного и только что споровшего лычки ефрейтора Гудкова, приехавшего на Север, чтобы найти себе место под солнцем.

Наш рефмеханик Алекс Раевский постоянно изводил меня вопросом: "Из каких соображений, доктор Гудков, вы запродали свою честную демобилизованную душу дьяволу?"

Я отшучивался, хотя в душе, конечно, понимал: Алекс знает, что говорит. Не успел я познакомиться с Мартой, как мои доброжелатели тут же мне донесли, что у нее с Алексом, в общем знаете, как в подъездах пишут: "Марта+Алекс..." И так далее.

Странно, что я никогда не испытывал к нему ревности. К другим моим молочным братьям ревновал дико, а к нему нет, хотя чувствовал, что по интеллекту он на две головы выше меня. Представьте, москвич, инженер, остряк и циник, таких обычно женщины любят. А у нас было все наоборот — Марта на каждом шагу терроризировала его. До сих пор не знаю, что в нем ее так бесило. А меня, наоборот, тянуло к нему. Это была даже не симпатия, а что-то другое, о чем так просто и не скажешь. Вы знаете, что меня больше всего привлекает в людях — порода! Алекс был патриций, дворянин, даже очки поправлял по-особому, чуть прикасаясь пальцами к дужкам. Но о нем позже. А пока о самом, так сказать, предмете. Так вот, вместо получавшей высшее образование Карлы Доннер я встретил рядовую труженицу моря, даже не окончившую десятилетку и ходившую на "Маточкином шаре" в должности матроса-уборщика.

Во всем остальном она также отличалась от моего идеала, на который скорее уж смахивала ее судовая подружка Мирка. Обычно они в паре промышляли у Пяти углов, и это называлось у них "при-ключе".

Мирка была светловолоса, голубоглаза, с маленьким гармоничным носиком и отличной талией. У Марты все было несообразным. При тощей фигурке длинные сильные ноги. Большие глаза на остром, как у птенца, личике. Черные, как воронье крыло, волосы. И всю ее будто скроили из разных деталей, взятых от разных людей,— от кого-то ноги, от кого-то глаза... Она носила невообразимую мини-юбку в крупную бордовую клетку — и где бы ни появлялась, на нее пялили глаза.

Сейчас, на трезвую голову, я, конечно, могу разбирать ее по деталям — что в ней было сообразного, что — несообразного. Но тогда, можете поверить, мне было не до того. Раньше я вообще не верил в страсть без вмешательства серого вещества, считал все это чушью и ерундистикой, но, увидев на палубе Марту, вдруг почувствовал, что мои полушария стали, как два паралитика. И все идеалы, и вся философия полетели к чертовой матери.

Я думал только о ней. Бывало раньше, мне ничего не стоило врезаться в компанию судовых. Я любил баловаться в их каютах, и они тоже любили меня. Наверное, считали, что я — немного с приветом. Все, чуть что, тащат в каюту, а я от них ничего не требовал, и им было со мной легко и просто, ну, знаете, как с занятной вещицей. А вот как подступиться к Марте, не имел понятия. Искал случая, пока случай сам не подвернулся.

Суббота была, а суббота на стоянке день праздничный. И потому устраивали морячки гранд-вечер в интерклубе. Обычно я в такого рода мероприятиях не участвовал. На всякие твисты и шейки смотрел с величайшим презрением, как на пустую потерю времени, — куда лучше было повалять-ся с книжкой в каюте. Но я знал, что на вечер придет Марта, и отступил от своего правила.

Марта и Мирка вошли в клуб прямо перед моим носом, я нагнал их у дверей, но у входа матросик преградил мне путь: "Пускаем только девушек!" Я выругался про себя и хотел было уже уходить, как услышал из-за спины голос Марты: "Раз его не пускаете, тогда и мы не пойдем..."

Весь вечер я танцевал только с ней. О чем говорили? По-моему, ни о чем. Я, по крайней мере, молчал. Употреблял все силы на то, чтобы не отдавить ей башмаками ноги. А она со скучающей физиономией обозревала меня: "Откуда взялся такой питекантроп?" Я с силой поворачивал ее, и она воскли-цала: "О, майн гот! Вы сломаете мне, юноша, талию". У нее, знаете, был такой особый, хрипловатый басок, какой только и встретишь у судовых.

Когда мы шли по причалам до судна, я читал ей стихи. Я не задумывался, поймет ли, я даже не знал, зачем лезу из шку-ры, знал только, что дико хотел ей понравиться, и в темноте отметил, что у нее отличные глаза.

Ночью не мог уснуть, ворочался, как старпер, на койке и вдруг обнаружил в себе способность строить воздушные замки, каждый из которых предназначался для нее, для моей "судовой принцессы" в мини-юбке.

Замок № 1: Эскорт из черных "Волг" подвозит нас к подъезду Дворца новобрачных. Оттуда мы начинаем с ней путь к новой жизни. Конечно, это будет бег с препятствиями — не так-то просто понять друг друга в хаосе двадцатого века, но мы поймем...

Замок № 2: Институт. Это для меня. А для нее — десятый класс вечерней школы.

Замок № 3: Семья, счастливая пара в кооперативном гнез-дышке. Я — папа, она — мама, как говорят в Одессе, чего вы от меня желаете, жизнь есть жизнь!

На другой день Марта пригласила меня к себе, сказала: "Просто так, посидеть". Я отказался, наверное, инстинктивно. Она посмотрела на меня, как на чокнутого. Это в первую минуту. А во вторую — уже немного по-другому — как на чокнутого с внешностью Жана Марэ. Она сказала, что у меня фигура, как у Жана Марэ. А я сказал, что уж "просто так" лучше пойти в театр. А она прижала руки к груди и воскли-кнула: "Майн гот, какой серьезный мужчина!"

Из театра мы зашли в кафе, и я решил познакомить ее со своим прошлым. А прошлое у меня — любопытное. Я ведь, знаете, — голубых кровей: отец — оперуполномоченный, мать — охранница в колонии для заключенных. Жили после войны в заупокойной деревне Озерки, в пятидесяти километ-рах от Барнаула. Посреди комнаты стоял огромный кованый сундук. Весной, раз в году, мать его перетряхивала. Доставала шубу с огромным беличьим воротником, вешала ее на верев-ку. Потом пересыпала ее нафталином и укладывала обратно, а дома не было сахара, масла, самого необходимого. Бывало, как пойдет она на отца матом — едрить твою растакую мать — и тут же на образок, в углу у нее висел: "Прости меня, господи!"

Я говорил с таким же настроением, как накануне, когда читал стихи. У вас бывает так — хочется завыть белугой, а вместо этого строишь из себя Аристотеля? Я говорил и смот-рел на ее большие, лиловые от помады губы. В углу подвывал сакс... и она не выпускала изо рта сигарету. Смеялась: "Майн гот, у тебя преотличная маман, ты обязательно меня с ней познакомишь... О Боже, твист, какой твист!"

Она была не слишком тактична. И не очень умна. Но даже эта ее неумность мне казалась милой непосредственностью. И к тому же мне казалось, что все придет, если, разумеется, я постараюсь. Правда, когда оставался один, то невольно ловил себя на мысли: а что все-таки меня в ней нокаутировало? Я испытывал себя и на мгновение вызывал в памяти карикатуру: пучеглазую черную рожицу на длинных крупных ходулях. Но карикатура исчезала, а она оставалась. И я шел к своему молочному брату Алексу. О чем бы ни шел у нас разговор, я незаметно переводил его на Марту.

— Между прочим, что ты о ней скажешь? — я спрашивал тоном, будто интересовался его мнением о новых своих штиблетах...

— Скажу, грандиозная женщина...

— Она все время мне кажется на кого-то похожей. Только на кого?

— На кого? На Анну Маньяни...

— Точно! — принимал я пас, — а посему возьму и через месяц женюсь.

— Через месяц, доктор, поздно. Надо через неделю, еще лучше сегодня к вечеру. Такие женщины на улице не валяются.

Я чувствовал, что своим юмором он выворачивает мне кишки. Нет, это была не ревность. Ревность тут ни при чем. Про себя я раз и навсегда решил, что на ее прошлое плюю. Но представьте себе, что все вокруг считают вас идиотом и стараются открыть вам глаза на прошлое вашей возлюбленной. Что бы вы сделали? Послали всех к дьяволу? Ну, а если вы втайне чувствуете, что кое-кто и кое в чем в отношении вашей соскочившей с рельс персоны прав?

Тут, знаете, ситуация, какой и врагу не пожелаешь. И я, возможно, поумнел бы, понял, что стоит внять разуму — не так уж глупа общественность, если бы не сама Марта. Вот я вам говорил, говорил о ней: какие ноги, какие губы, а ведь ничего не сказал. И получается одна тривиальщина: мальчик девочку любил, а затем употребил. А у меня и мыслей этих не было, если бы только Алекс вечно не подливал масла.

Идем по палубе, а навстречу он. И вечно ему от нас чего-то надо было.

— Привет, доктор Фауст и прелестная Маргарита!

— Привет, Мефистофель! — выдавливал я из себя. На большее меня не хватало. На большее хватало Марту.

— Послушай, Гудков, какой черт тебе больше симпатичен: с рогами или безрогий?

— Если я вас правильно понял, сеньорина, — улыбался Алекс.

— Лично я рогатых не переношу, тощища с ними.

Она мило шутила, но в ворота к Алексу летели голы. И мне это нравилось. И хотелось действовать всем назло.

На меня показывали пальцами, но я уже ничего не замечал. Я летел, как взнузданный конь, и хоть бы раз оглянулся. Впрочем, оглядываться было поздно. Однажды, когда мы были в море, она пришла ко мне с чемоданом. Пришла, и точка. Я-то, чучело книжное, всегда считал, что женщина, как скала, не искарябаешься в кровь — не взберешься. И вот, пожалуйста, — воленс-ноленс: стоит в мини-юбке с сигаретой в зубах твердыня с Пяти углов! В первую минуту у меня полезли на лоб глаза. Что бы вы сделали, мил человек? Пригласили? Я — тоже.

— Значит, будем жить, как муж и жена? — сказал я.

— Именно! — сказала она.

— Что ж, попробуем, — сказал я.

Я сидел на табуретке и, как идиот, улыбался. Она сама достала из шкафа бутылку водки — налила себе и мне.

— Ваше здоровье, юноша.

Выпили. И еще по одной, и еще. А я все сидел и улыбался, теряясь, как поступить.

— Может, расстегнете мне молнию, — сказала она.

И тут я, как с катушек сорвался — как бешеный стал срывать с нее все. Все, что на ней было — юбку, чулки, пока она не осталась голой. И вдруг, что бы вы думали, — сложила ноги крест-накрест и говорит: "Успокойся, юноша, будь мужчиной". И так промучила меня до рассвета. А на рассвете я уж совсем озверел — потерял человеческий облик — представляв-

те, это же была моя первая женщина! А когда озверел, она сдалась.

В ту ночь я дал себе слово — держать свои инстинкты под контролем. Я же решил сделать из нее человека, а она обожала будить во мне зверя, и я понял: пока не переломлю себя, не переломлю и ее. Правда, раза два или три я отступил от этого правила — дал волю физиологии, у меня на это были свои причины.

Недоумеваете? Наверное, думаете, с чего это он выворачивается? А ни с чего! Я, может, перед собой выворачиваюсь, каким шизиком оказался.

Ну вот, лежим в ту ночь в постели, и строю я планы.

Во-первых, без меня больше ни шагу. Семья есть семья. Во-вторых, подаешь заявление в вечернюю школу — неграмотная жена мне не нужна. В-третьих, приличные люди не могут жить без искусства. На стоянке пересмотрим все, что идет в драмтеатре... Я говорил и думал о чем угодно, но только не о том, что в действительности меня связывало с ней. Мне казалось, что я снова становлюсь самим собой — человеком, умеющим достигать цель в жизни. А она, голая, вскарабкавшись в кресло, непонимающе глядела на меня:

— Майн гот! Какая тоска, каждый день в театр!

— В театре не бывает тоска.

— А я говорю тоска! — топнула ногой и, подлетев ко мне, поцеловала в ухо.

В первый же день после прихода в порт мы отправились на "Пигмалиона". Мне казалось, что весь Мурманск состоит сплошь из ее любовников. Особенно меня поразил один (я давно его приметил) — Майкл, с пюпитром и нотной папочкой под мышкой. Волосы — до шеи. Походка — гермафродита. На ходу, как циркач, перекинул папочку и чмокнул Марту в щеку. Я не выдержал, ускорил шаг. Марта догнала и стала расспрашивать, что со мной — может быть, нужна микстура?

На подобные номера я не обращал внимания. И если обижался, то на день — не больше. Я слишком верил в себя, проявляя дикую самонадеянность и дикое незнание человеческой натуры. А когда спохватился — уже было поздно — ее генетическая программа сработала на всю железку.

В последнее время мы только и читаем: "Генетика! Генетика! Законы человеческого естества, облаченного в микроскопические спиральки!" А сами, если разобраться, плюем на это естество. Все-то мы можем: прирожденного кретина превратить в гения, подлеца — в ангела-спасителя. Уверяю вас — все наше могущество — ерундистика, и что бы вам поначалу ни казалось — знайте: рано или поздно ваши идиотские спиральки взорвутся, как бомба замедленного действия.

На мелочи я не обращал внимания. Я считал себя выше мелочей. Один раз мы втроем зашли в "Арктику": я, Марта и Алекс. Но весь вечер она танцевала не с ним и не со мной, а с каким-то малохольным командировочным, не спускавшим с нее глаз. Я не выдержал, встал из-за стола и ушел на судно. Но, придя в каюту, задумался: она ведь женщина, она жаждет нравиться, и я не вправе лишать ее этой маленькой радости. Морально она становится другой, и это главное.

Я повыбрасывал все ее помадные тюбики, у нее даже изменился цвет лица. Упоенный успехом, я подводил ее к зеркалу: "Смотри, Марта, какие были у тебя губы и какие стали!"

Раньше они с Миркой все воскресенья на койках валялись, теперь я подымал их чуть свет, и мы шли на лыжах. Раньше, бывало, тащит ведро с водой — вся перекосится, а теперь обхватывала меня за шею и отрывала от палубы — восемьдесят килограммов живого веса!

Я смотрел на нее, потирая от радости руки, и в упоении уже не слышал тикания часового механизма, приближающего час взрыва.

Как-то вернувшись с вахты, я долго не мог разыскать Марту. Излазил все судно, пока не нашел ее в гостях у Алекса. Собралась там теплая компания — Мирка, Алекс, Федя с камбуза и еще двое мне незнакомых. Они как раз и угощали и были в центре внимания. Оба представились врачами ОСВОДа, накануне прибывшими из Москвы.

Марта была в ударе, кокетничала, особенно с одним, который был постарше. Еврей, знаете, такой напомаженный, дряхлеющий кот.

— Вы хирург? С детства мечтала стать хирургом! — не умолкала Марта.

— Лично я, дитя мое, у ваших ног, — таял он, — завтра же презентую вам анатомический атлас.

Наутро того и другого я застал в каюте у Мирки. Не успел войти, как оба тотчас испарились, а Марта вдруг заявила, что с сегодняшнего дня начинает изучать медицину. Я пожал плечами: ради Бога! А сам никак не мог подавить в себе нехорошего предчувствия. И, кстати, предчувствие не обмануло меня.

Перед отходом в море устраивали банкет в кафе "Юность". Я был распорядителем. За столики пригласили всего тридцать шесть пар, больше не умещалось. И ко мне шли за билетами, чтобы пройти, а затем устроиться где-нибудь в баре, и те двое из Москвы тоже пришли, и я дал им билеты. Уже перед самым началом подскочила ко мне Марта и сказала, что тоже хочет идти. Я отговаривал ее, говорил, что постараюсь вырваться пораньше. Меня будут рвать на части, и я не сумею уделить ей ни минуты внимания, а без меня ей что делать.

Но она не сдавалась, и я, едва сдерживая раздражение, сказал: "Вот что. Марта, или ты или я. А чтоб по-честному, давай разыграем. В карты давай, в дурака. Выиграешь — придешь, проиграешь — остаешься".

В карты, между прочим, она играла отлично — всегда меня оставляла. Но на этот раз я выиграл у нее три раза подряд.

В кафе действительно мне некогда было вздохнуть. Я носился по залам, было, конечно, здорово: джаз, шампанского накупили. И вдруг часов в десять — я не поверил своим глазам — к контролю подошли Марта с Миркой. Она в панбархате, вся блестящая, никогда она не была так красива. Я настолько опешил, что, ни слова не говоря, без пригласительных билетов пустил их в зал. А она, как ни в чем не бывало, поздоровалась и прошла в бар, где сидела компания москвичей.

Некоторое время я не смотрел в ее сторону. Сидел, пил коньяк, а потом все же повернулся — не хватило воли. И увидел ее сидящей рядом с теми двумя, которых застал у Мирки. Вернее, не с двумя, а с одним, с тем напомаженным — то ли Альфредом, то ли Альбертом, от которого меня еще в тот раз чуть не вывернуло.

Марта стреляла глазами, хохотала, я тоже пытался выдавить улыбку, но у меня ни черта не получилось. Часов в одиннадцать мы разъехались, к двенадцати почти все были на судне. Марты не было. Я, конечно, всю ночь не спал, а утром Федя с камбуза рассказал мне, что из кафе вся московская компания — он тоже со своей девчонкой там был — отправилась за город, к бывшей Фединой хозяйке, там и пробыли до утра...

Марту я не дождался. Ночью мне страшно хотелось напиться, но я сдержал себя. Как только рассвело, взял в порту две "малышки" и пошел к маленькому озерку. Оно возле порта было, в таком затаенном месте, водяной "тайничок". Бросил в воду "малышек". Было жарко, пусть охлаждаются, плавают. А сам вернулся на судно и встретил по дороге Марту. Она плелась по причалу. Откуда? Подошел к ней очень спокойно — я и позже в таких случаях старался сохранять элементарную выдержку. Поздоровался.

— Привет, Марта, как ты провела вечер?

Она как ни в чем не бывало:

— Хорошо. А ты, Алеша?

Я предложил:

— Пойдем, немного побродим.

И направились к тому самому озерку. Я достал из воды "малышек", две рюмки из кустиков. Выпили.

— Ну, что ты скажешь, Марта? — спокойно продолжал я.

— Ничего не скажу... — ответила она.

— Но, может быть, все-таки скажешь, почему не пришла на судно?

— О! Это пожалуйста: опоздала на автобус, всего на пять минуточек, последний ушел в час.

— Ты все врешь! Мне известно, где ты была — на квартире!

Я представил себе этого старого, дряхлого еврея и рядом с ним Марту. И вы знаете, первый раз в жизни ударил женщину. Я поднял ее над обрывом и вот так держал на весу. Ну, хоть бы слово раскаяния, хоть бы вообще словечко...

— Так как же ты пришла?!— уже неизвестно для чего заорал я.

— Как? Пешком! — ответила она, глядя на меня совершенно ясными, наглыми глазами. О! Она это умела делать.

И тогда я тут же, на скале, содрал с нее юбку.

Она закричала: "Идиот, что ты делаешь?!" Но я-то знал, что делаю. На что-то, в конце концов, я имел право!

Сейчас, когда представление окончено, я, конечно, над собой смеюсь: Отелло доморощенный! Это была даже не мелодрама, а провинциальный водевиль. Но тогда шло только первое действие, и к тому же эти ясные, правдивые глаза...

Мы встали. И она вдруг вскочила мне на шею и засмеялась, и мы пошли на судно, и я вдруг почувствовал, как шестеренки в моих полушариях буксанули и закрутились вспять: ведь в час, действительно, уходил последний автобус, и она, действительно, могла опоздать, хотя, может, и рвалась ко мне... Зачем весь этот балаган? Я готов был размозжить себе голову: дуб, подонок, эсэсовец — какие у тебя против нее доказательства? Видите, как себя бичевал, да только зря все это...

На судно шел в препохабнейшем настроении, она — впереди, я — сзади, не шел, плелся, как нашкодившая дворняга. На причале ее окликнула Мирка, а я увидел Алекса. Он откуда-то уже про ночь все знал и тут же принялся меня воспитывать. Своим обычным тоном, слегка насмешливым, слегка циничным. Он-де на моем месте с такой птичкой, как Марта, был бы нежнее. Я никак не мог понять, чего, собственно, он лезет в наши дела. "Ради эксперимента, мой ангел, только ради эксперимента". И, буравя меня из-под очков глазками, насвистывал: "Люди гибнут за металл... Сатана там правит бал..." "И ты, мой ангел, тоже скоро пойдешь ко дну" Алекс был в своем репертуаре, — интересно, спал он с ней или нет! — и я чуть не дрызнул ему по очкам.

Наутро мы ушли в рейс, на Браунс Банку. И снова каждый день были вместе. На судне к этому уже привыкли: вместе, так вместе. Никто в нашу жизнь не влезал, а я, очутившись с ней, снова стал предаваться... Думаете, скажу любовным утехам... Тривиальщина! Я не хотел сдаваться. И снова, утратив чувство реальности, начал строить воздушные замки — как да что у нас будет, когда вернемся на берег. Наивный человек — море никому и ни в чем не помогало!

Она сидела — нога на ногу, расстегнув халат, ее любимая поза. А я, сжав зубы, занимался с ней математикой, и во время занятий мы то и дело ссорились. Я спрашивал, что такое периметр у четырехугольника, а она показывала мне на две стороны. Я объяснял ей еще и еще. Она спорила, потом вдруг заявляла, что ей надоели эти примитивы. Немедленно объясняй ей квадратуру круга. Где и когда о ней вычитала? Но стало это у нее, как идея фикс, как бред, квадратура круга, да еще эти лиловые колеса.

Будит меня как-то ночью и спрашивает:

— Гудков, сейчас же ответь мне, кто ты: круг или квадрат?

— Ты что, Марта, малость того?

— Я спрашиваю: круг или квадрат?

Сказал, кажется, "круг", чтоб отвязаться, а, может, "квадрат", не помню...

Что она хотела от меня? Но этими своими кругами она вечно раздражала меня.

Дня через два то же повторяется на палубе. Лежит, расстегнув купальник, загорает.

— Гудков, взгляни на небо. Что видишь?

— Ничего, небо, как небо, тучи...

— Колеса, глупый человек, точно колеса. Вон, какая громадина, как наш "Маточкин шар", а вон рядом два малыша...

Я велел ей поправить бретельку и не болтать ерунды. А она вдруг разобиделась: "Что ты со мной, как с девчонкой!"

Не любил я ее шизофренических фантазий. Мы часто ссорились, но всегда я первый подходил к ней, а потом опять все шло, как прежде. Меня раздражала эта неопределенность, и я говорил ей: "Марта, давай распишемся, все равно нас считают мужем и женой".

Она смеялась: "Нет, Гудков, давай получше узнаем друг друга". И мы узнавали друг друга, вернее, я узнавал ее.

Когда мы вернулись из рейса, она уехала домой, в Гурьев, как сказала она, повидаться с муттерхен. Чтоб не скучала, я раздобыл ей кучу книг — Чехова, Тургенева, Золя, Лескова... Взял с нее слово, что будет каждый день мне писать обо всем: что делает, с кем дружит, что читает, что в кино смотрит —

мне важно было о ней знать все. Я провожал ее на перроне. Для меня это было событие. Я провожал первую свою женщину. Она припала лбом к стеклу, в глазах у нее стояли слезы, и по щекам текла тушь. А дня через два я получил письмо. Не знаю почему, оно не понравилось мне. Написано каким-то разным почерком, в спешке, а в конце приписка: "Ты извини, Алеша, тут девчонки пришли, невозможно сосредоточиться".

Весь день я не находил себе места, а вечером добровольно пошел на подвахту грузить ящики. Таскал, как буйвол, чтобы ни о чем не думать. Но не думать не мог...

Вернулась она как ни в чем не бывало. Влетела и поцеловала в ухо. И я, собрав всю силу воли, насколько мог спокойно, спросил:

— Ну, как съездилось?

— Отлично, Гудков. Почему от тебя не было писем?

— А за что тебя в 24 часа выселили из гостиницы? С кем ты проводила время? — я говорил наобум, на всякий случай.

— Ни с кем. Майн гот! Он не верит мне.

— Ты врешь, Марта.

С некоторых пор у меня появилась зверская интуиция. Я не спеша взял со стола ее сумку и извлек оттуда дневник. Я знал, что она ведет дневник, но раньше никогда не решался открывать его. А сейчас раскрыл и прочел:

"...Все дни проводила с Андреем Степановичем. Отличный мужчина. Боксер. Одной рукой отрывает меня от земли и несет с пляжа нах Хаузе. Но вечером с ним тощища. Вечера провожу с Эдвардом Геннадиевичем. Эдвард Геннадиевич — скрипач, нежен, как девушка. Целует мне пальчики и каждый Божий день говорит, что бросит жену..."

Я читал все это вслух, и на меня глядели все те же ясные, наглые глаза:

— Глупый человек, я хотела сама тебе о них рассказать. А после передумала, чтобы не расстраивать. Ну, хорошо, ну, виновата, прости, ради Бога... — Она говорила быстро, не давая мне вставить слова. Меня душила злоба. И я повторил то же, что тогда на скале. Сам возбудил себя, дал волю и не

знаю зачем — бросил ее на диван, как куклу — эдак с силой, цинично. О, если бы она сопротивлялась — я бы прикончил ее. А она... Сама помогла расстегнуть молнию, и... обняла меня, и включилась, как машина, и как машина... выключилась. Преспокойно поднялась и застегнула молнию, и стала разглядывать себя в зеркале. "Вот так она с каждым , — подумал я и чуть не взвыл. И тут снова эта похабная мысль: А какие, собственно, у тебя доказательства?"

Я положительно не знал, что делать, и все шло по-старому. А вскоре произошел случай, который потряс меня даже больше, чем та ночь с дряхлым котом.

Это было вскоре после ее возвращения из отпуска. Мы отправились в гости к ее бывшей хозяйке, у которой несколько лет она жила вместе с сестрой. Было весело, много гостей. Танцевали в разных комнатах.

Я вышел напиться на кухню и неожиданно услышал голос Марты. Я остановился и стал подслушивать у двери. Раньше у меня никогда не было этого. Подслушивать, читать чужие письма я считал мерзким, но с Мартой я изменил этому своему правилу и оттого последнее время стал презирать себя.

Так вот, стоял у дверей и слушал, как Марта говорит со своей бывшей хозяйкой, знаете, такой старой интеллигентской-бандершей. Слышу, хозяйка ее эдак по-матерински журит: "Мальчишка он совсем, на что он тебе, Марточка?"

И тут ее голос:

— Что поделаешь, влюблен человек, да и от меня, по-моему, тоже не отвалится...

Раньше я, чуть что, себя успокаивал — нет доказательств. А когда это услышал, то вдруг почувствовал: ни в чем, ни на гран она не переменилась. Резанула меня эта мысль, но только на один миг. Миг прошел, и снова стал я, незаметно для себя, искать ей оправданий.

Это только в романах так бывает: "Случайно услышал и сразу все понял!" Оно, наверное, так и должно быть — по закону обратной связи. Только у нас, россиян, все больше не по закону, а как у Мити Карамазова: и услышал, и понял, и дурнем остался...

Так вот, как только она сказала эти слова, я распахнул в кухне дверь и крикнул, что все я слышал. Хозяйка засуетилась, стала меня успокаивать. А я схватил пальто и, не попрощавшись, вышел вон. Иду и слышу, как за мной кто-то бежит. Чувствую: Марта!

Видно, и она почуяла недоброе. Бежит за мной, уговаривает вернуться. А я иду, не оборачиваюсь. Шаги постепенно стихли. Я обернулся: Марта удалялась. Потом произошло что-то непонятное. Она обмякла, плечи обвисли и повалилась на снег.

Подошел к ней:

— Марта, не дури, простудишься!

Она не шелохнулась, даже ресницы не дрогнули.

И вдруг — какая чушь! — мне показалась, что она умерла. Не знаю, что делают в подобных случаях герои романов, но я, как дикарь, стал рвать на ней кофту и ухом искать сердце. За какие-то доли секунды я ей все абсолютно простил. Ничто не стоило ломаного гроша по сравнению со страхом, охватившим меня.

Убедившись, что она дышит, я понес ее обратно к хозяйке. Положил в постель, а сам не прилег до утра. Всю ночь ходил из угла в угол, искурил пачку папирос. На рассвете она очнулась, позвала меня:

— Что ты, глупый человек, все куришь? Ну, дура я, дура! Извини, пожалуйста, больше не буду.

Я решительно не знал, что делать дальше, на рассвете мы уехали на судно.

Между прочим, по характеру я весь в мать. Она наполовину мордовка, а это очень упрямые и вздорные люди. Все детство меня мать мучила. Особенно не терпела, когда я убегал из дому. Чуть что, сиди, учи уроки! Если выучил — учи на завтра. На завтра выучил — учи на послезавтра. На послезавтра выучил — повторяй пройденное.

Однажды мать послала меня на станцию — сахар должны были привезти. Я заигрался и про сахар совсем забыл. А когда вспомнил, побежал на станцию — узнал, что поезд, слава Богу, опаздывает. Но не знал, что мать, не дождавшись меня, сама пошла на станцию и проследила, как я, вместо того, чтобы сахара дожидаться, в догоняшки играю.

Когда пришел домой, она, ничего не говоря, достала ремень и била меня, пока не выступили кровавые рубцы. И так всю жизнь: приду домой, разговариваю — "Чего болтаешься без толку?" Сижу в углу, читаю — "Чего молчишь, как бандит?" Смеюсь, шучу — "Ишь, шут гороховый!" Строгаю лучину — "Чего копаешься, все равно намокнет!"

Как-то пришел домой поздно, с Любкой, первой своей девушкой, гулял. Спрашивает: "Где был?" А я уже со зла: "На свидании!" Второй день опять: "Где был?" "На свидании!"

Тут не выдержала: "С проституткой связался, мать забыл!"

Встал я, и ни слова не сказав, надел шинелку и — на станцию. Иду по среднему пути, товарняк сзади. А я иду и не обращаю внимания. Не то, что хотел самоубийством покончить. У меня к самоубийству свое отношение. Долорес Ибаррури говорила: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Островский: "Жить надо даже тогда, когда жизнь становится мучительной". Я считаю: самоубийством кончают только дураки. А тогда просто такое безразличие ко всему. Иду и вдруг сзади слышу: "Алеша!" Зоя, сестра, почувствовала недоброе, и меня догонять.

Я почему вспомнил? Такое же настроение было и в ту ночь, когда Марта упала в обморок. И еще больше его испортил Алекс. Уже утром на судне я ему все рассказал. Что говорила Марта бандерше и что произошло потом. Спросите, зачем рассказал, зачем вообще чуть что шел к Алексу — не отвечу, не знаю.

Не бывает у вас состояния, когда вы чувствуете себя переполненной чашей — не человеком, а чашей, бушуете, плещетесь через край, да и только. Между прочим, с Мартой я всегда себя чувствовал такой бурлящей колбой — все внутри накалялось, кипело — вот и выплескивался своему начальству — Алексу. А он? О! Он всегда оставался самим собой:

— Обморок? Прямо на снегу? Ай-ай-ай, да вы ж пневмонию могли получить. А все отчего? От неустроенности — что в ЗАГС с девочкой никак не выберешься.

Ну, скажите, к чему он это? И что за интерес у него к нам был? И что вообще он был за человек? Что умница — это точно! Ну, а дальше-то: приличный? скотина? Смотрю ему сквозь очки и, ей-ей, ничего не вижу. Глаза улыбаются, и шиш в придачу! Сколько водки с ним перепили, а спросите, как ко мне относится — не знаю, как к Марте — не знаю, ничего не знаю. Однажды, помню, не сдержался я да как гаркну: "Сними очки — в пыли все!"

Не снял, протер платком: "Сэнкью вери матч..." И точка. Есть человек — нет человека!

А с Мартой после той ночи все навкось пошло. Стал я очень раздражителен. В ответ на любое ее слово взрывался.

Однажды она вошла в каюту и стала звать меня зачем-то выйти, а накануне мы поссорились, и я сказал, что не пойду. Тогда она прямо при Алексе устроила скандал:

— Я думала, в тебе что-то есть, а ты плебей, как все. Тебе одно только надо!

Я вышел с ней из каюты, сдавил руки ей и вдруг чувствую, как плечи ее обвисают. Тело становится, как студень, и, как в тот раз, она бессильным комочком падает на пол.

Говорю Мирке: "Беги, скорее, за врачом!"

И вдруг, черт подери, она разжимает ресницы и, спокойно приподнявшись, говорит:

— Врача не надо, обойдемся...

Недели две, наверное, мы с ней не разговаривали. Я старался ее не замечать и про себя уже решил: "Все, хватит!"

Но вот раздается как-то стук в дверь и нерешительно входит она. И начинает странный разговор:

— Ты знаешь, Гудков, я пришла, чтобы за все тебя поблагодарить. Ты так для меня много сделал. В общем, я только что выпила 20 таблеток люминала.

Я посмотрел на нее внимательно — в лице ничто не изменилось. Зрачки не расширились (я, между прочим, в армии еще интересовался медициной и в общем-то знал признаки отравления) .

— Ты, как всегда, врешь, Марта.

— Вру, ну, хорошо...

Она ушла и минут через пятнадцать возвратилась. Снова с тем же: "В общем, за все тебе спасибо, Алексей!" На этот раз я увидел, что лицо ее действительно стало другим. Она закрыла глаза. Я отнес ее в каюту, а сам побежал к фельдшерицам, и одна из них призналась, что дала Марте сорок таблеток барбамила.

Вместе с ней на "Скорой" я приехал в больницу и всю ночь пробыл у ее постели. Теперь я уже понимал, что у нас ничего не получится. Вспомнил, что рассказывала мне фельдшерица, и понял, что отравление — это тоже фарс. Она хотела меня проверить, но перестаралась. И вот теперь лежит в беспамятстве, а я около нее и не могу ее покинуть.

Утром уехал, а на другой день пришел снова. Узнал, что ей сделали переливание крови и для меня оставлена записка: "У меня был следователь. Надо выгородить девчонок. О тебе не сказано ни слова. Марта".

Обо мне ни слова — какое благородство! Скоро она выписалась. Я встретил ее возле больницы, и мы вместе шли на судно. Она, точно ничего не стряслось, сообщила: "Ты знаешь, Гудков, я еду в отпуск домой. Муттерхен, кстати, тебя тоже приглашала" — и те же чистые, как стеклышки, глаза.

А я шел и думал: сколько мы будем вместе, столько она будет лгать — это даже не ее вина, она просто не может быть другой. Я это понимаю, однако ж иду с ней и ночью опять лягу с ней. Отчего? Всю жизнь я считал себя личностью, обладающей стопроцентной свободой воли. Но разве личность станет так волочиться за юбкой? А, может быть, я просто-напросто боялся одиночества. Вы никогда не испытывали этого страха, дикого, животного страха одиночества? Любое общение, но только не пустота!

В то утро, когда мы возвращались из больницы, я это особенно сильно чувствовал, не признаваясь самому себе. Но я ни за что не хотел потерять себя как личность. Ни на йоту. Я есть я и обязан спокойно и трезво думать о будущем.

Конечно, я с ней никуда не поеду, но только говорить об этом нельзя. Пусть едет одна, а я скажу, что появлюсь через месяц. Сам же отправлюсь в Москву, оттуда по турпутевке

за границу. Деньги у меня были — через полгода вернусь, и все само собой станет на место. Но чего стоил мой здравый смысл рядом с сюрпризами, которые мне преподносились. Она уехала, кажется, в среду или в четверг, а в понедельник уже началось...

Возвращаюсь на судно, в каюте меня ждет Нина, Мартина сестра:

— Ты только не пугайся, Алеша, с Мартой ничего не произошло, она просто находится здесь, сегодня днем приехала.

Вошла она и как ни в чем не бывало сказала:

— Гудков, мы должны срочно ехать ко мне, мама нас очень ждет. Только давай скажем, что мы уже расписались. Знаешь, старый человек, условности...

Я согласился, но предупредил ее, что это в самый наипоследний раз. Если что-нибудь случится, то все и навсегда.

Встретили нас хорошо. Она гордо шла по улицам. Одеты мы были по-европейски, и все с интересом разглядывали нас. Марте это нравилось, и все как будто налаживалось. Но в душе я не верил, я ждал. Однажды мы поехали в магазин, и она встретила по дороге свою родственницу, тетю Клаву. А я, между прочим, не переваривал эту старую сводню — за ее непотребный язык. Остановились они, вижу, разговор затягивается. Я сказал Марте, что поеду один и на обратном пути заеду за ней. Возвращаюсь. Возле дома их нет. Захожу в сени: голоса. Сидят. Самогон пьют. Марта ей втолковывает: "Странный он у меня, муженек. Вчера полдня с мальчишками в футбол гонял. А я теперь так — он в футбол, а я к вам, тетя Клава". — И из другой комнаты я услышал чьи-то пьяные голоса... — "Выпьем, что ж я хоронить себя должна?"

Я вызвал ее и сказал:

— Сейчас же пойдем к матери, я ей все расскажу!

Целый вечер сидели втроем, и я все рассказывал матери, не все, конечно, одну треть.

Муттерхен ее была умная женщина.

— Как же это так, Марта, получается, у тебя такой муж, а ты так с ним обращаешься. Ладно, ребятки, идите спать, постелька, она, знаете, кого хошь, помирит.

Мы подошли к кровати, я хотел проверить ее. Сгреб и бросил в постель. И вдруг она вскочила и как заорет: "Нет!" И что я такой же, как все, и мне нужно от нее только одно. Это мне-то только одно?! Я взял стул и переломил его пополам. Я крушил все, что попадалось под руку. У меня руки были в крови от битой посуды, от гвоздей...

Потом сел и заплакал. Впервые в жизни. Оттого что во мне все было пусто, что не было в природе больше Алексея Гудкова, то есть он, конечно, существовал, как биологический индивид, но как человек, как хомо сапиенс, был ничто.

Скажите, чем личность отличается от неличности? Единственно — серым веществом! У одних оно — аморфная масса, у других — сложнейший механизм, способный регулировать любые импульсы. Мой регулирующий механизм бездействовал, обессилел, капля за каплей израсходовал все горючее.

Я плакал, пока не пришла мать, и я попросил достать немного водки. Водки не оказалось, и я выпил стоящий на шифоньере одеколон...

Через несколько дней я провожал Марту. У нее кончился отпуск, а у меня еще недели три было. Мы попрощались, и, оставшись один, я впервые отдыхал.

А она мне писала письма, что теперь работает на "Радищеве", ее назначили старшей проводницей.

Прошло три недели, и я приехал в Мурманск. Встречала она меня так, словно всю жизнь ждала: "Алеша, как все здорово!"

А у меня было двойственное чувство — с одной стороны, было приятно, что она ждала меня и так встретила, а с другой — я ловил себя на этой мысли — мне страшно хотелось ее в чем-нибудь уличить.

И что же? Она вышла. Я приподнял скатерку (за эти два с половиной года у меня стал волчий нюх) и обнаружил письмо — и от кого бы вы думали? От еврея того, от Альберта. Он просил прислать ему, как они условились, фотографию...

Но теперь мне не хотелось ее обвинять.

Вскоре я перешел на "Северодвинск". И один наш матрос, Дмитриев, пригласил меня в компанию. Как раз вернулись с ним из рейса. Я не соглашался, но потом решил пойти. А чтобы меня особенно не расспрашивали, притворился охрипшим. Встретили нас две девушки. Одна была знакомая Дмитриева, другая, другая... как-то очень по-свойски, мило улыбнулась и сказала, что она обо мне много слышала. Я прохрипел: "От кого?" Она засмеялась...

Я просидел у нее всю ночь. Мы болтали, а назавтра договорились встретиться снова. Впервые я шел по улицам и широко дышал. Другая... стала моей женой. Нет, она не красавица, она — совершенно обычная. Веснушки. В глазах — бесенята. По улице пройдет — не заметишь. Но вы никогда не думали, что именно такие, с веснушками, и делают нашу жизнь теплее, уютнее.

Когда шел я в ту ночь домой, то попробовал сравнить ее с Мартой. Поразительно: сколько ни силился, я не мог вызвать образа Марты, то есть в сознании я без труда разбирал ее на части, но не мог собрать снова, как механическую куклу, с которой сыграли злую шутку. Кукла оказалась некомплектной. Огромные глаза никак не укладывались на маленьком личике, а несообразно длинные ноги не влезали в некомплектную мини-юбку — и потому цельной, неразборной Марты не получалось. Цельной и осязаемой была другая, а Марта раскалывалась, исчезала. И вдруг я поймал себя на мысли: а была ли она вообще в моей жизни? Были ли дикие сцены, которые только по недоразумению можно было назвать любовью? Был ли, наконец, я сам — не разумный, трезвомыслящий человек, а крылатый шизофреник с расплавленным пластилином в мозгах? Или все это призраки, которых я вызывал с того света, потому что был долго и тяжело болен? И теперь, пережив кризис, я вернулся в обычную жизнь.

В этой жизни меня встречают с цветами в порту. В ней у меня свой дом, семья, отличный компанейский тесть. А о Марте я больше не слышал. Кто-то сказал, что последнюю ночь она была у Алекса — и сам он как-то обмолвился, что получил от нее письмо с Банки Джорджес, но меня это занимало не больше, чем прошлогодний снег...

АЛЕКС

Стало быть, знаете доктора Гудкова? Какое милое совпадение! Атлантика становится, как улица Горького, — на каждом шагу встречаешь общих знакомых. Вы знали Гудкова, а я — их обоих — и его, и девочку. На одной палубе жили, к тому же они регулярно информировали меня о своей любви. Представьте, у меня была такая миссия: выслушивать и давать советы. В своих советах, впрочем, я не очень церемонился, и как бы высоко они ни взлетали, каждый раз спускал их на землю. Между прочим, люди любят, когда их спускают на землю и поэтому любят ходить на комедии.

Один остряк говорил мне, что в Мурманском драмтеатре скоро откроют комнату смеха для увеселения скучающего зрителя. Недурно, а? После "Короля Лира" видишь свою потешную, сплющенную физиономию. Так сказать, без пересадки — с неба на площадь Пяти углов.

Итак, в один прекрасный день на судне появилось веселое создание в должности матроса-уборщика. Оно не было в моем вкусе, но страшно желало со мной познакомиться. И вот как-то солнечным утром создание не выдержало и обратилось ко мне на палубе: "Юноша, послушайте, как птички поют!" А я, знаете, так спокойненько ответил: "Пели, поют и будут петь".

Вечером моя новая знакомая появилась у меня в каюте — это был один из самых комичных блицроманов в моей биографии. Начавшись в девять вечера, он примерно через час прервался в самом пикантном месте. Женщины всегда меня интересовали лишь с точки зрения процесса познания. Помните, кантовская вещь в себе становится вещью для нас. Девочка начала с того, что наотрез отказалась стать "вещью для нас", авторитетно заявив, что в наши дни невозможно встретить настоящего мужчину — одни пигмеи! Если бы это откровение исходило из уст одной из московских интеллектуалок, то на этом бы я и поставил точку. Но монолог принадлежал судовой. Согласитесь — это было занятно, и ради эксперимен-

та я решил повременить. Позже появился Гудков, и я втянулся в эксперимент. Образовался треугольник, которого вам никогда не встретить на берегу. Там банальщина, от которой воротит скулы: он, она, любовник! А здесь? Он, она, экспериментатор. Море есть море, и от нечего делать станешь хоть чертом. Кстати, это амплуа меня и привлекло: черт-экспериментатор!

Обычная картинка. Все разбрелись по берлогам. Стук в дверь: "Можно, Алекс?" Марта!

Войдет. Закинет нога на ногу. "Ох, Алекс, скучно!" Худа была, как жердь, только губы торчат, да глазищи — в общем, кадр с пятачка у "Арктики". И вот сидит, ноет. Вдруг вскочет, подлетит к зеркалу:

— Алекс, как ты думаешь, что во мне самое прекрасное?

— Тут и думать нечего — душа!

— Душа — это ты отлично сказал. Ну, а зачем мне эта прекрасная душа?

— Странный вопрос, разумеется, чтобы любить Гудкова.

— А за что мне его любить?

— Как за что? За прямоту характера и честность намерений.

— Люблю, когда мужчины со мной так разговаривают... Алекс, как ты думаешь, из чего сделан настоящий мужчина?

— Полагаю, что из стали.

— Правильно, а из чего сделан ты?

Потушит сигарету и снова летит к зеркалу.

— Ты, Алекс, прекрасный человек, я бы даже за тебя замуж вышла, но ты,неизвестно из чего сделан.

Картинка вторая. Полчаса спустя. Стук в дверь: Гудков.

— Привет!

— Привет!

— Где она? Была у тебя?

— Была.

—Ну?

— Что ну?

— Что говорила?

— Предложение мне сделала.

— Ты знаешь, Раевский, я с ней что-нибудь сотворю. Представляешь, выхожу из каюты — с "дедом"* тащится. Повисла на шее, при всем честном народе. Что-то там есть — точно!

Мечется по каюте, курит…

— Ну, где же она может быть? Если у "деда" — все!

Картинка третья. Утро. Выхожу на палубу. Гудков. На шее у него Марта. Обвила его сзади, как плющ. Ногами пришпоривает:

— Но-о! Вперед, мой конь!

Потом, как жокей своей лошади, пошепчет ему на ухо и опять:

— Вперед! — он смеется, она смеется. Идиллия!

Между прочим, он любил повторять, что до встречи с ним она была никто. Не читала. Не училась. Ни к чему не стремилась в жизни. Он был личностью, а она нуль без палочки. Но если это и был нулик, то, скажу вам, весьма своеобразный. Девочка знала половину Мурманска, и полгорода знали ее. У нее была патологическая страсть к новым знакомствам, ко всяким приключениям. Правда, как подлинной искательнице, они никогда не приносили ей удовлетворения. Как-то познакомилась она с джазистом из горэстрады. Звали его Майкл. Это был известный мурманский прохиндей. Марта ходила на все его концерты, и когда он выходил "на бис", сгорала от восторга. Однажды я спросил ее, что она в нем нашла, в этом педерасте...

— Господи, Алекс! Какое мне дело, кто он — черт, дьявол, ты бы послушал, как он играет! Как играет!

А вечером вернулась вне себя и сообщила, что двинула Майклу по физиономии, так как он оказался потрясающим хамом. Весь вечер бродила по палубам, ныла:

— Алекс! Скажи, что мне с собой поделать, если у меня такой общительный характер, а мужчины пользуются этим. Все! Буду читать, шить, лучше погибнуть в одиночестве, чем общаться с такими идиотами!

Клятв ее хватало только до вечера. Вечером она забегала за Миркой, они обретали респектабельный вид и на всех парах летели на Пять углов искать новые "при-ключе". После

*Дед — на судне стармех.

этого Мирка куда-то исчезала, а девочка, не солоно хлебавши, возвращалась на судно: ее страсть к познанию неверно истолковывалась, и она вечно попадала в какие-то невообразимые ситуации, из которых столь же невообразимым образом выпутывалась. Слала на головы мужчин миллионы проклятий, кляла их за непорядочность, но только до вечера. Вечером все начиналось сначала.

Потом отправлялась в море и там в качестве матроса-уборщика драила каюты и палубы. Ходили слухи, что на судне она, как и положено заблудшей душе, меняла мужчин, как перчатки — полрейса ходила в невестах капитана, полрейса — старпома... Лично я этому свидетелем не был, видел лишь, как она жаждет берега и как у Норд-Капа меняет гардероб. Она всегда спешила жить, мчалась по жизни с бешеной скоростью, и единственно, чего я не мог понять, — почему сделала остановку на Гудкове.

Лоэнгрины ее, разумеется, менялись. Судя по фото, висевшим над ее койкой, были среди них Радж Капур, потом Жан Марэ, затем Олег Стриженов. Гудков не напоминал ни одного. Вы не видели его? На кого он, по-вашему похож? По-моему, на такого праведного зэка.

Помню, как увидел его в первый раз на Флемиш-Капе. Лежу в каюте после трудового дня, листаю старый "Огонек". Стук в дверь. У порога какой-то наголо обритый кретин:

— Извините, товарищ, лекалы не найдется?

— Во-первых, говорю, лекало — среднего рода, а, во-вторых, лекала не найдется.

Есть люди, начисто лишенные чувства юмора, — таким и был этот Гудков. Я ему про лекало, а он мне про свое, что готовится к поступлению в пищевой институт и должен день и ночь тренировать свое серое вещество, даже в море. В общем, супермен из Бутырки.

Но девочка, когда загоралась, умела, в ком хотите, найти ангела. Вы бы видели, как она после рандеву с ним влетела ко мне. Глаза горят, волосы распущены. Я думал что-то стряслось.

— Алекс! С кем я познакомилась!

— С кем же?

— С поэтом одним, с нами в рейс идет. Какой, Алекс, мужчина! Огромный, как Жан Марэ. Я пригласила его к себе, а он: "Благодарю, но не лучше ли нам пойти в театр". Мужчина! А какие стихи читал. Одно "Смерть" называется: "Мы умираем, мы умираем, нас каждый день зовет туда!"

Гудков восхищался тоже. Но в свои отношения с любимой тотчас внес серьезный элемент и почел за долг сообщить об этом едва ли не каждому члену экипажа. Тогда-то я и открыл в нем еще одно качество — хроническое недержание эмоций. Я давно заметил, что эта милая черточка присуща положительным героям, о которых в газетах эдак восхищенно пишут "душа нараспашку". Лично я с такими людьми с трудом поддерживаю отношения. А с Гудковым приходилось. Почему — другой вопрос, но приходилось. Представьте ситуацию. На море восемь баллов. Вас слегка мутит, и вы который час подряд перекатываетесь на койке, никак не можете угодить в объятия к Морфею. Вдруг стук в дверь. Тихий такой стук:

— Алекс, храпишь? Не храпи, друг. Есть разговор, — и, присев к вам на койку, продолжает, — как ты думаешь, должен я из нее сделать человека? По-моему, должен! Не знаю, через год, через два, через десять, но сделаю! Вытрясу душу, но сделаю!

"Ту самую прекрасную душу, которой она так любит тебя", — думал я... Но, как полагается в серьезном эксперименте, я старался сохранить объективность, по крайней мере, вначале, и потому не мог не видеть, как девочка переменилась.

Не знаю, была ли это любовь. Я давно сомневаюсь в реальности этой категории, в особенности у судовых. Но что она прилипла к Гудкову и посему даже расцвела — это точно! И при этом оставалась самой собой. Знаете, такая пестрокрылая, веселая птичка. Кстати, хорошенькие женщины мне всегда напоминают пернатых. Я даже пытался нащупать психологические параллели — как и для пернатых, мы строим для своих лаур золотые клетки, чтобы наслаждаться их цветным оперением и веселым щебетом, — впрочем, говоря

серьезно, все это от лукавого. Просто мир для меня всегда такой, каким я его воспринимаю, и если я женщин воспринимаю, как пернатых, мне с Эйфелевой башни наплевать на излияния поэтов, называющих их королевами. Так вот, вечно щебечущая, на длинных ногах птичка.

Мне кажется, по натуре своей, она не могла стать другой. Не знаю, как это объяснить психологически, но интуитивно я всегда это чувствовал. Пернатые, если помните зоологию, ведь тоже бывают разные — щебечущие, певчие, каркающие, и еще дьявол их знает какие. Так вот — экземпляр щебечущий, сколько ни дрессируй его, не запоет вам соловьем.

Я сто раз втолковывал это Гудкову, но он ничего не хотел понимать, да и девочка не хотела учитывать, что вольница кончилась и щебет лучше бы поумерить.

Логически рассуждая, мне до всего этого не было ни малейшего дела. Пусть их любят, вздыхают, ненавидят... Я взывал к собственной объективности, но стоило мне их увидеть вдвоем, как логика отступала. И я, вопреки собственному желанию, втягивался в игру.

Однажды "с приходом" мы втроем отправились в "Арктику": Гудков, Марта и я. Настроение отличное. Шампанское — рекой. Болтаем. Вдруг появляется один мой старый знакомый, еще по Москве — низенькая, губастая личность в тройке и подсаживается за наш столик. Внешне он был настолько сер, что ни одна из окружающих дам не повела и оком. А Марта не сводила с него глаз. Мало этого, пригласила на дамский вальс. Я с интересом наблюдал за Гудковым. Я видел, как он изменился в лице, сдавил губы, поднялся и, не сказав ни слова, вышел.

Позже девочка объяснила мне, что столь сильное впечатление произвели на нее глаза губастого. "Как ты думаешь, Алекс, — философствовала она вслух, — что главное в глазах мужчины? — Ты видел его глаза — сколько страдания!"

Страдалец — командировочный из одного московского треста — не теряя времени, тут же пригласил девочку к себе в номер, в связи с чем и был молниеносно отвергнут.

Вернувшись к столику, она заявила, что у нее разламывается голова, потребовала, чтобы я немедленно взял такси, и мы поехали развеяться. Она закурила, сделалась мрачной, как туча, и стала умолять, чтобы я все объяснил Гудкову, потому что без него она вряд ли доживет даже до утра. Я спросил: "Неужто?" Она посмотрела на меня с удивлением, словно не было ни губастого, ни исчезновения Гудкова — и вообще, как я смел поставить под сомнение ее чувства к ее ангелу?

В такси подул ветерок, и, набросив на нее китель, я слегка обнял ее, придвинул к себе. Это было абсолютно автоматическое движение, а она вдруг спросила:

— Алекс, ты не знаешь, почему все мужчины... так примитивны?

Я ответил:

— Марта, послушай, как птички поют!

Она засмеялась:

— Пели, поют и будут петь...

Вы знаете, сколько у меня было женщин, но в этой судовой я открывал для себя все новые грани. Быть может, ради нее, ради этой любопытной птички, я и веду всю эту игру. Она и Гудков никогда не будут близки. То есть они, конечно, могут трахаться, могут вместе жить, могут даже сходить в ЗАГС, но от этого не станут ближе, а если и станут, то это будет так же противоестественно, как любовь барсука и синицы. Теперь я, кажется, начал понимать свое отношение к Марте. Это было отношение совсем иного порядка, чем в тот первый вечер, когда я пригласил ее в каюту. Сам того не замечая, я тоже начал воспитывать девочку. И после дурацких ангельских излияний Гудкова водил ее к себе в комнату смеха. Зачем? А ни за чем! Наверное, просто потому, что мы любим переделывать окружающий мир по своему образу и подобию.

Вам не приходилось читать "Голую обезьяну" Лесмонда Мориса? Так вот, он говорил, что из всех животных мы избираем любимцами тех, которые пребывают в вертикальном состоянии, и даже собаку по этой причине научили служить.

Нет, это точно: люди любят себе подобных. И теперь Марту мы воспитывали оба. Между прочим, он любил с ней играть в "дурака". Теперь мы играли с ним. И мой эксперимент сам стал похож на карточную игру. Мефистофель Раевский и ангел Гудков ставили на заблудшую душу подопытной Гулиевской. У него, правда, было больше козырей, но это меня только подзадоривало.

После того вечера в "Арктике" они, конечно, помирились, но Гудков еще несколько дней донимал меня, как подруга вела себя без него в ресторане. И вообще моральный облик любимой не давал ему покоя.

Однажды он уехал зачем-то в порт, а девочка потащила меня в кино. Оттуда зашли в кафе. Сидим, кейфуем. Вдруг дверь открывается: Гудков! Подсаживается молча. С нами ни слова. А вечером стучит ко мне в каюту и начинает такой разговор:

— Алекс, ты Марту давно знаешь?

— Давно.

— И прилично знаешь?

— Прилично.

— А как прилично?

— Да что, собственно, вам, доктор, надо?

— Видишь ли, Алекс, ты только не обижайся и правильно меня пойми. Ты же знаешь, что я решил связать с Мартой жизнь. В общем не обижайся, но я хочу задать тебе один вопрос: какие у тебя были с Мартой отношения?

— Какие? Превосходные!

— Что значит превосходные?

— Превосходные мужские отношения! И вообще, доктор, зарубите себе на носу: с душами, которые передо мной исповедуются, у меня всегда мужские отношения...

Я говорил совершенно нейтральным голосом, но в душе я не был нейтрален, нет. Разве порядочному черту может быть безразлично, как относится к его жертве ангел. Я уже стал в себе замечать: стоит Гудкову подать признаки волнения, как во мне начинает бешено трепыхаться такой маленький червячок. Я даже однажды подумал, что "шершавый" — это и

есть я — подлинный, а все остальное — тело, костюм, очки — лишь аморфная масса, лишь оболочка, позволяющая мне скрывать себя от людей. Оболочка может улыбаться, философствовать, обретать то один, то другой совершенно облик, но я, то есть "он", никогда не изменит своих страстей и привязанностей.

А "его" симпатии были всегда на стороне Марты. Между прочим, замечено, что у всех заблудших неплохой характер. А фаустовская Маргарита, насколько я понял Гете, вообще была божьим человеком. То же могу засвидетельствовать и о девочке. Однажды у Мирки в порту стянули деньги. Марта взяла и отдала свои — 90 рублей, копейка в копейку. Матери на пальто копила, а тут увидела, что подружка расстроилась, и отдала.

А Гудков — этот — нет! Самое любопытное, как этот ангел-зэк сам себя подавал: "Я, между прочим, весь в мать, а мать — наполовину мордовка. И во мне течет мордовская кровь. И упрямство во мне материно, мордовское!"

Он вам не рассказывал о своем процессе с матерью? В позапрошлом году? Она, конечно, тоже гражданка своеобразная, всю жизнь была охранницей в исправительно-трудовой колонии. Возможно, из-за этого мне и казалось, что он похож на зэка. Измывалась над ним страшно — в тринадцать лет он из дому бежал. А она в семьдесят два в суд иск предъявила о взыскании алиментов со своего милого чада. Так он на суде целую речь произнес: "Товарищи судьи, решению вашему подчинюсь, каким бы оно ни было, потому что наши советские законы уважаю. Но добровольно не буду платить ни копейки..." И теперь выплачивает старухе по суду по 9 рублей 70 копеек в месяц.

Вообще, это была редкая личность. Я не знаком с житием ангелов и потому не знаю их психологических установок, но этот признавал в жизни только прямую, цель и никаких отклонений. И девочку в воспитательных соображениях тоже решил распрямить. И вроде бы стал уже чего-то добиваться (даже мой мефистофельский дух заколебался).

Появлялись они в те дни только вместе. Ходили только в театры и на концерты. Это по вечерам, а днями пропадали в каюте, занимались. Весь медовый месяц ушел на геометрию. И даже когда стучала Мирка, Гудков ее тут же выпроваживал: "Прости, подруга, но мы заняты. Итак, из точки "А" опускаем перпендикуляр в точку "Б".

Такая, знаете, идиллия. Урок геометрии в Гевсиманском саду. Но скоро я понял, что идиллия была заминированной. Птичка могла щебетать и порхать, как угодно. Единственно, чего она не умела — летать по прямой, и это-то мне больше всего в ней нравилось.

Началось с того, что втемяшилась ей в голову одна шизофреническая идея. Я думал, как обычно — подурит и забудет, но эта идея захватила ее сильнее Раджа Капура. Заходит ко мне в каюту в один прекрасный день и эдак издалека начинает:

— Алекс, скажи, пожалуйста, кем бы ты хотел видеть свою будущую половину?

Отвечаю — домохозяйкой!

— Алекс, какая, по-твоему, самая лучшая специальность? Например, для такой женщины, как я?

— Ах, как ты? Тогда, конечно, заведующая сберкассой. Сидишь у окошка, а в окошко весь мир видишь... И в зеркало опять же весь день на себя глазеть можно...

— Дурень! Я — серьезно: самая благородная, самая нужная профессия?

Короче, из дальнейшего выяснилось, что девочке ни с того ни с сего взбрендило стать, кем бы вы думали? Доктором. Почему? Спросите меня что-нибудь полегче. "Врачи-де настоящие люди, потому что способны вдыхать в трупы жизнь". И ее призвание тоже вдыхать в других жизнь. Будет работать в Москве, в Склифасовского. "Представляешь, Алекс, привозят к тебе на "Скорой" труп, скула набок, конечности всмятку, а обратно выходит стопроцентный человек, возможно, даже интересный мужчина".

Вот так-то! То хотела утешить какого-то командировочного, а теперь задумала осчастливить весь людской род. Раздобыла анатомический атлас, меня сделала подопытным кроликом и стала потихоньку сходить с ума, что, конечно, никак не входило в планы Гудкова.

Захожу вечером, девочка разлеглась с атласом на койке. Гудков явно недоволен. Диалог:

— Марта, брось ерунду, учи физику.

— Уже выучила, господин.

— Учи химию...

— И химию выучила, господин!

— Повторяй пройденное, на тебя бы мою мамашу!

— О, майн гот! Зачем мне мамашу, когда у меня такой очаровательный железный папаша!

В такие минуты девочка была просто великолепна — особенно, когда подмигивала мне крашеной ресничкой — дьявол в мини-юбке! Мне временами казалось, что я и сам бы непрочь поучить ее физике или химии. Но это было не в счет. В счет было лишь то, как она обращалась с ангелом. Я любовался этим великолепным зрелищем, чувствовал, как во мне бешено трепыхался "шершавый". В такие минуты я улыбался и весело насвистывал: "Сатана там правит бал!"

Я это делал всякий раз, когда свежела погодка. А она явно свежела. Гудков, словно бы между прочим, сетовал, что девочка весь вечер неизвестно где пропадала. Марта, между прочим, бросала, что не обязана никому давать отчета.

— У Альберта была? — первым не выдерживал Гудков.

— Да, у Альберта, господин, а что нельзя? Он такой симпатяжка, Алекс.

Симпатяжкой Альбертом был поселившийся на судне старикашка-врач, знаете, такой старый, бывалый прохиндей. Приехал из Москвы, с какой-то осводовской комиссией, месяца два жил на судне, по соседству с Гудковым и Мартой, носил гамаши, пил только кипяченую воду, и Марта заходила к нему потрепаться. И, конечно, была от него в восторге. "Если бы ты знал, Алекс, какой он одинокий, просто ужас!"

Из-за этого Альберта и произошел первый взрыв. Впрочем, почему взрыв — ангелу просто было выдано по заслугам. Короче, в одну из ночей Марта не пришла на судно. Наутро

он ее чуть не убил. Он, как подстреленный тигр, метался по моей каюте и что-то рычал насчет ее отравленных хромосом или ген, грозил задушить ее собственными руками.

— Но отчего же так, доктор, — пытался я его урезонить, — переспала с другим, значит уже и отравлены. Просто ваши гены не одинаково устроены. Понимаешь, разные конструкции, у тебя в виде херувимчиков с крылышками, а у нее — в виде птичек щебечущих. Птичка скок-перескок — и нету! С птичкой, мой друг, надо быть понежнее.

Я, конечно, понимал, что говорить так с влюбленным грех, но я не в силах был лишить себя этого удовольствия. Теперь-то я думаю, что это все из-за моря. Не видишь ни берега, ни свежего человека — все одно и то же, одни и те же лица, одни и те же манеры, одна и та же пища — можно рехнуться! Вот я и нашел себе хобби в свободное от вахты время.

Альберт явно доводил Гудкова до исступления. Я наблюдал за взъяренным ангелом, и "шершавый" так и прыгал во мне — мне часто казалось, что это "он", а не я потешается над ангелом.

С другой стороны, кто дал ему право так обходиться с женщиной? Видели бы вы, как она, бывало, нежно щебетала: "Алешенька, милый, посмотри на меня и на этого старпера. Майн гот! На кой он мне нужен? Честно! Я ж тебя одного, лба, люблю". Она, конечно, привирала, я ведь тоже был на квартире у Фединой хозяйки, и все происходило на моих глазах. Почти до рассвета девочка была вдвоем с Альбертом. Я видел, как он ползал по ковру и целовал ей колени, а она нежно гладила ему головку. Но перед ангелом у нее не было вины ни в чем. Во всех ситуациях девочка оставалась самой собой, все той же веселой птичкой, а он выворачивал ей своими клешнями лапки и требовал, чтобы она на его глазах превратилась в святую Магдалину.

Он вам не рассказывал, как она ездила домой в Гурьев, а он заподозрил ее в страшной измене? Но самое интересное, как вел дознание: "Отвечай, говорит, по вопросам: "Были ли у тебя там знакомые мужчины?" "Нет, Гудков, не было!

Мальчики были из нашей школы..." "Меня интересуют мужчины. Учти, запирательство бесполезно. Мать у меня, сама знаешь, где работала. И вообще, у меня там свой человек был!"

Потом я ее спрашивал:

— Как же ты, девочка, так на себя наклепала?

А она отвечала, как могла только она ответить:

— Майн гот! Ну что я могла поделать? Пристал, как банный лист, сдавил руки. Да черт с тобой, чтобы я из-за тебя, дубина, переживала — мужчины — так мужчины, мальчики ведь тоже мужчины... Что для любимого человека не сделаешь! — И хохочет.

— Между нами, Алекс, мне нравится, когда мужчины из-за меня с ума сходят. Ты знаешь, что с ним творилось после той ночи у Фединой хозяйки? А после Гурьева? Я, может, его за это люблю, что он такой идиот ненормальный — с нормальными скучно!

Мне не известно, что переживал в подобные минуты Мефистофель, но лично я не находил себе места, хотя старался не показывать вида. Помню, в самый разгар беседы она подлетела к зеркалу:

— А что, Алекс, я ничего! Между нами, Андрей Степанович и Эдвард Геннадиевич уже давно предлагают мне руку и сердце. Эдвард Геннадиевич даже провожал на вокзал. Стоял на перроне и все мне пальчики гладил... Майн гот! За что меня так любят мужчины!

— За благолепие! — сказал я, — за благолепие, — подошел к ней и взял ее за руку. Рука, как рука, тощая, с длинными пальцами.

— Ты что, Алекс, чего это ты вдруг?

— А ничего, хотел представить себя на месте Эдварда Геннадиевича.

— Ох, Алекс! — погрозила она мне пальцем.

— Что Алекс?

— Ничего, Алекс! — показала она мне язык.

Я сказал ей:

— Поедем в кабак.

Она сказала:

— С удовольствием!

Я спросил:

— А как же ангел?

Она ответила:

— Плевать!

В ресторане мы уселись в самом дальнем углу. Я положил руку ей на колено, а у нее вдруг испортилось настроение. Без всякой причины. Она вообще была, как солнышко на мурманском небосводе. Выглянет кругляшок света и тут же помутнеет, скроется. Так и она: то измордует своего ангела, то вдруг разжалобится, кричит, люблю!

Но во мне это только будило азарт. Вы знаете, какое самое сладостное ощущение в жизни? Ощущение игрока! Кто был игрок номер один? Могу сказать: Мефистофель! Думаете, ему нужна была душа Фауста? Его игра влекла, ему банк сорвать надо было! А возьмите Наполеона? А Остап Бендер? А наш кэп Шулейкин, когда рыщет рыбку на Банке Джорджес!

Да мы все, в сущности, сидим за карточным столом. Только слова говорим респектабельные — стимулы, мечты, карьера, а сами сидим, банкуем, в козыря бьем, сами козыряем... Вот и я решил сорвать банк у ангела — от скуки, от злости. Он-то, конечно, не играл, где ему? Он просто жаждал заполучить приличную, трехмерную жену и построить трехмерное кооперативное гнездышко. А слова? Серое вещество... Любовь... Ангелы вечно нам кажутся романтиками, благодаря своим крылышкам, а поскребешь и обнаружишь обыкновенного клопа — Пьера Скрипкина!

Но я-то точно играл. Теперь посмеиваюсь, к чему мне было все это, а тогда играл, бился, засучив рукава. Птичка была только символом в этой битве, а в действительности, как пишут в книжках, столкнулись добро и зло. Точнее, зло напало на примитивное крылатое добро, от которого лично меня выворачивало с детства. Как видите, в этой игре была философская подоплека.

Временами мне казалось, вот-вот, и банк будет сорван — ангел вконец терял присутствие духа, а я, как истый сатана, был олимпийски спокоен.

Однажды утром он ворвался ко мне в каюту и голосом заговорщика сообщил, что его любимая разоблачила себя, как последняя блядь и прости господи. Так и сказал "прости господи!" (Если заметили, был он большой дока по части изящной словесности!)

— Так уж и до конца? — улыбнулся я.

— Сегодня ночью она симулировала обморок и, главное, при каких обстоятельствах, какую мерзость сказала перед этим!

— Обморок? — у ангела появлялись симптомы шизофрении. Он даже не спрашивал моего совета, а в ярости метался по каюте. А когда я вскользь заметил, что всему виной их незаконный брак, он чуть не бросился на меня с кулаками.

— Молчи лучше, пока линзы не дрызнул!

Позже, конечно, извинялся, говорил, что ему почудилось, будто у меня запылились очки. Но мне это было уже ни к чему. Я-то знал: когда у моих противников не остается аргументов, они всегда грозят изничтожить мои очки.

Итак, он нервничал, а я улыбался, предвкушал совсем уже близкую победу. Но в игровом азарте я слишком упрощал натуру девочки и, сам того не замечая, анализировал ее по примитивной логике ангела: конечно, она раскусила его и уже открыто потешается, а, значит, близок конец — возьмет и растопчет каблуком — все 80 килограммов живого веса. Мой "шершавый" сатана слишком рано правил бал, забыв, что от девочки в любую минуту можно было ждать любого сюрприза.

Слепцы-пииты! Я б на их месте давно воспел талант непостоянства, в котором нет ни логики, ни цели... Впрочем, любой талант бесцелен и алогичен, и в этом смысле девочка была талантлива, талантливая шизофреничка! Однажды на Банке Джорджес я подсмотрел у нее дневник —такого бреда вам не встретить ни у Джойса, ни у Кафки: "На что похожи облака? Я спросила у Гудкова. Он сказал, что облака — это скопления сгустившихся водяных паров в воздухе. Совсем,

как в "Физике" Фалеева и Перышкина. Я никогда не знала физику, а вот облака похожи на колеса — маленькие, средние, громадные. Перекатываются себе по небу — все в жизни на колесах, все вертится, и даже море от борта расходится колесами. Гудков сказал, что это от солнечных очков — а мне наплевать от чего! — мне бы всегда так валяться на вертолетной площадке и глазеть на небо и видеть плывущие по нему колеса, на которые мы сядем с Гудковым, вцепимся в обода и укатим на Марс или Юпитер!"

Неправда ли, от такой поэтессы можно было всего ожидать? Но только не того, что в один прекрасный день она решится отправить себя на тот свет. Этот девочкин шаг так и остался для всех загадкой. Такая жизнелюбка — от укола пальчика в обморок падала и нате — без пяти минут самоубийца! Позже, когда заседал судком, пришли к выводу, что до такого состояния ее довел Гудков: "Только казался праведником. Обращался с Гулиевской, как с крепостной!"

Но я-то знал, что это мираж, больная фантазия общественности, которой никогда не понять подобных порывов.

Накануне девочка была у меня:

— Алекс, ты не слышал, говорят на почве ревности можно трехнуться. Потемнеют полушария и... конец! Ну, и пусть себе трехается... Завтра, говорит, уезжаю в Питер. Уезжай на здоровье — ауф видерзеен!

Она, как всегда, похрипывала своим баском. Но на этот раз меня будто что-то кольнуло, и даже будто мой "шершавый" слегка притаился. Возможно, вид ее насторожил. Скрутилась клубочком в кресле, глаза в туши сверкают, как у очковой змеи. Одни колени торчат.

— Послушай, Алекс, дай двадцатку, план у меня есть!

— Какой же интересно?

— Револьвер хочу на толчке купить! — она засмеялась, но ей было явно не до смеха.

Знаете, зачем ей понадобились деньги? Девочка была просто шедевр! Кто-то на судне ей по секрету сообщил, что на Абрам-мысе проживает одна любопытная мадам — то ли врач, то ли сомнамбула типа Вольфа Мессинга. Так вот, будто мадам за скромную мзду берется лечить таких, как Гудков, и Марта попробует к ней съездить.

Обо всем этом мне поведала всезнающая Мирка. Гудков и в самом деле укладывал вещи — не знаю, чтобы уезжать или чтобы ее припугнуть, но девочка не находила себе места, и мне было искренне жаль ее. Я упорно держал на мушке ангела, но в мои планы вовсе не входило доставлять такие пытки ей.

Когда я назавтра встретил ее в кают-компании, то содрогнулся, так изменился за одну ночь цветущий какаду. Я потрепал ее по мордашке и, слегка прижав к себе, взялся потолковать с Гудковым, хотя о чем толковать — не имел представления.

Он встретил меня воинственно. Я теперь не замечал и следов от крылышек. Весь вечер расхаживал по каюте, сыпал на нее обвинения. В обычном своем духе, он-де желал ей добра, весь выложился, и вот, благодарность. Но теперь хватит, сыт по горло! "Пускай попробует жить без нас, а мы, Алекс, посмотрим, на что она способна".

У него были полные руки козырей, и мне впервые захотелось бросить колоду и дать ему в морду.

Ночью девочка выпила барбамил. Вот такие случались козы!

Судком заседал до вечера, целый день. И уже решили ходатайствовать перед капитаном, чтобы списал Гудкова с судна, но девочка явилась на заседание собственной персоной, — не девочка — ощипанный воробей. Глаза сверкают, тушь поплыла — кто дал право вмешиваться в ее личную жизнь? И вообще она выходит за Гудкова замуж. И завтра они уезжают домой к ее матери.

Надо было видеть эту картинку, как они спускались по трапу. Он шел, выпятив грудь, как Наполеон после Аустерлица. А она рядом, боясь отстать даже на полшажка. Глаза заплыли, как две черных кляксы, но в этих кляксах таился свой секс, и она была совсем недурна. Птичка перебирала рядом с ним лапками, вцепившись в его руку и прижавшись щекой к его плечу.

Что ж, тут была своя логика: ангел козырнул и сорвал банк. Впрочем, это я сейчас говорю так, все больше образами и сравнениями, а тогда ко мне вдруг пришла предельно простая мысль: "Неужели в этом — закон жизни, чтобы глупые, примитивные ангелы всегда клали на лопатки изощренных и насмешливых духов?" Я был так повержен этой мыслью, что вдруг потерял всякое желание продолжать игру. Ничего не попишешь, с рождества Христова птички попадают в лапы к глупым ангелам и, улетев на небеси, резвятся в любовных утехах. А духи скрежещут зубами, глядя, как плодятся и множатся крылатые дураки.

Но я рано пел по себе панихиду. Не прошло и месяца, как получил от Марты письмо. Типичное ее письмо:

"Привет, Алекс! Уже две недели живу у муттерхен со своим будущим благоверным и прохожу двухмесячный испытательный срок. (Ты что-нибудь подобное слышал?) Этот чайник никак не решит для себя, могу ли я удостоиться чести стать миссис Гудковой. Не жизнь, а мечта. Сказки Венского леса! Утром отправляюсь на базар. Потом варю обед. Потом обедаем, после чего принимаюсь за ужин. Всей семьей — муттерхен, я и он — сидим за столом и пьем чаек вприкуску. По вечерам его сиятельство меня из дому не выпускает, даже к родной тетке запретил ходить, говорит, разговоры непотребные ведем. А потому, сижу, Алекс, у окошка и наблюдаю, какие мимо меня проходят юноши. Ах, какие юноши! Одному постучала в стекло, за что чуть не получила по физиономии. Алекс, миленький, приехал бы, забрал меня, всю жизнь тебе буду благодарна!"

Я читал это послание и про себя торжествовал: "Да, мой дорогой, при всех твоих козырях, все ж сатана там правит бал!"

Мне не пришлось за ней ехать. Девочка сама вернулась в Мурманск, потерпевшая крушение пташка. И однажды вечером постучала ко мне. Я увидел ее великолепную морду, и "шершавый" запрыгал во мне, как бешеный. А она, помолчав, протянула мне ладонь и сказала:

— Прошу, монсеньер, поработать...

Я приблизил ее руку к губам, затем всю ее потянул к себе.

— Это по-твоему работать? Ты ж не старпом Тимоша, ты же аристократ, Алекс. — Она хрипло рассмеялась и закурила. — Ты знаешь, где идет линия жизни? Ну, вот, и погадай, начну я когда-нибудь жить, как человек?

— Так это ж без гадания ясно, — воскликнул я. — В самое ближайшее время. Уже ведь птички поют!

Я налил себе и Марте коньяку и подал ей стакан.

— Все ты врешь, Алекс, мне цыганка в Мурмашах нагадала, что ждет меня дальняя дорога. А на что, скажи мне, она, эта дальняя дорога? Я уж их видала вот сколько — она провела ребром ладони по горлу и выпила коньяк. Я выпил вслед за ней и в какой-то миг почувствовал ее близость. О, нет, это не была тривиальная похоть, это было совсем другое. Один кинорежиссер мне рассказывал, что он не может работать с героиней, пока не узнает ее как женщину. Тогда я смеялся, а теперь рядом с девочкой понял, что в этих словах что-то было. Девочка была тоже моей героиней, моим подопытным существом — я вырвал ее из лап глупого, примитивного ангела и, когда игра была окончена, хотел знать, что представляла она собой. Впрочем, не знать, нет! Я жаждал ее почувствовать — всю, эти несообразно длинные ноги, эти острые плечи и эти вечно намазанные сексуальные глаза, в которых, как мне казалось спьяну, засел атомный реактор. Но я решительно не знал, как объяснить ей свое состояние (я и себе его объяснял с трудом!), и, упав перед ней на колени, стал нести всякую муть, как одинок я в этой жизни и что дальше так не могу и кладу себя вместе со всеми потрохами к ее ногам. Господи, сколько раз я плел нечто подобное женщинам, и всегда этот стереотип срабатывал. Сработал он и на этот раз. Она выпила стакан до дна, налила еще и сказала, чтобы я потушил свет.

Атомный реактор, разумеется, оказался мифом. Были у меня женщины хуже, были и лучше, — а, в общем, все оказалось, как обычно, как с другими, проходившими через мою каюту. Я молча лежал на койке и, положив руку на ее плечо, пытался отыскать пальцами ключицу. "Шершавый" блаженно

развалился где-то на дне меня, по-видимому, тоже наслаждаясь победой.

Я много выпил и плохо помню, о чем мы в ту ночь говорили. Кажется, я снова пытался обнять ее, а она вдруг закапризничала. Собственно, вы понимаете, что в ту минуту птичка мне меньше всего нужна была как женщина. Ночью, оттолкнув меня, она вскочила с дивана и, подумайте! — решительно направилась к двери. От неожиданности я расхохотался ей в спину, но чувство победы было уже не таким полным. Возле двери она обернулась и сказала: "Привет, Алекс!" И закрыла за собой дверь. А я даже, признаться, рад был, что все так мирно кончилось.

После этого я больше не видел ее. Уехал в отпуск, а когда вернулся, узнал, что Гудков женится. Все развивалось так молниеносно, что перед свадьбой мы даже не успели с ним поговорить. Да и о чем было говорить — по совести, вся эта история мне здорово поднадоела. Слава Богу, нет больше ни ангела, ни Мефистофеля, ни "шершавого" — все вошло в обычное русло — весной поступаю в аспирантуру, да и на свадьбу я поплелся скорее от нечего делать.

Собрались в кафе "Сатурн". Всем экипажем горланили "горько!". Невеста, как полагается, была в фате. Кругленькая, с веснушками, но уже, знаете, с таким серьезным, озабоченным лицом. Звали ее Маечкой. Кто-то успел сообщить, что она учится в пединституте, будущий преподаватель русского языка и литературы. Сам Гудков сидел, будто проглотил аршин. А когда напился, стал вдруг спрашивать мое мнение о невесте: "Отличная женщина, а?"

Больше всех набрался Маечкин папа — не то главбух, не то начфин откуда-то из Аппатит. Этот все свое горланил, "Самое дорогое, Леша, тебе отдаю, люби и цени!" — ну, в общем, знаете, что в таких случаях говорят. Потом пошел чечетку отбивать и потащил за собой Гудкова…

Девочка в ту ночь на судне не ночевала. Назавтра вообще списалась, ушла то ли на Банку Джорджес, то ли в загранку…

МАРТА
(Из дневника)

Море

Любовь морячки коротка — от Норд-Капа до Норд-Капа. Норд-Кап — это почти порт, и влюбленные уже собирают игрушки. А у кого их нет, тому снится вселенская муть, как, например, сегодня мне. Будто я не морячка, а ученица 413 школы города Гурьева. В школе выпускной вечер, и, конечно, бал, и все взаправдашнее, как на балу: женский пол в кружевных платьях подпирает стеночки. Кавалеры в свитерах и водолазках потирают руки — с кем бы потанцевать! И все глазеют на мою персону. А персона — ноль внимания! Подплывает к ней брюнет с усиками. Провалиться мне под землю — Барабанов, наш стармех (откуда бы?). "Разрешите пригласить?" "Не хочу!" За ним старпом Тимоша (и этот здесь!) "Можно вас?" "Не хочу!" И вот уж кэп собственной персоной. "Извините!" "Нет, не хочу!"

Вдруг, откуда ни возьмись, маленький комарик — мой друг сердечный Алекс Раевский. Никогда не подозревала, что этот тип такого росточка. Подошел. Цокнул каблучками. "Можно вас, моя королева!" И королева принимает приглашение...

Танцуем падепатинер, раз, два три, раз, два, три! (откопали бабушкины пляски!) Морячки ведут дам, а мы с комариком ни с места. Палуба от качки так и ходит. Палуба сама танцует падепатинер (майн гот! Школа, бал, шторм — все смешалось в мозгах королевы!) .

Утром голова трещала, как дрова в печке. Рассказала сон Мирке, а Мирка тут же: "Марточка, сон в руку. Ждет тебя чудесное "при-ключе".

Мирка знает, как мне подправить настроение. Во-первых, завести разговор о береге, во-вторых, о будущих приключениях. Мирка говорит, что у этого слова свой смысл — "приключе" — в общем, имеем мы с подругой ключ к приличной

жизни, живем при этом ключе и ищем, к кому бы его подобрать.

В порту каждый вечер она кричит: "Марта, ключик готов?" "Так точно!" — отвечаю и мажу у зеркала ресницы. "Полный вперед!" — командует Мирка. "Есть полный вперед!" И бежим под ручку на Пять углов. И начинаются наши "при-ключе". "При-ключе" первое: шаги сзади. Прибавляем шаг и мы. Шаги быстрее: "Девушки, куда вы торопитесь?" Ну, хоть бы чуть-чуть не так. Ну, хоть бы: "Девушка, у вас отлетел каблук", а то обязательно: "Куда торопитесь?" "На Окинаву!" — ору я. Мирка пялит глаза. "Что за Окинава? Что-то я такого района на слышала". "Серость, — это ж Большая Приморская, прямо и за углом!"

"При-ключе" второе: шаги сбоку. "Девушка, извините, но где-то я вас видел". "В Коста-Рике, на барахолке!" — ору я.

Миркин локоть толкает меня в бок. Мирка чувствует: что-то не то, но пока не понимает, что именно. Я прибавляю шаг. Голос смолкает. Мирка говорит: "Дура!" Я говорю: "Вот именно!"

И все-таки приключения — отличная вещь, потому что без них можно тихо-тихо скончаться.

Дома это со мной чуть не случилось, хотя за мое устройство взялись все родичи. Еще в девятом классе муттерхен сунула меня на курсы счетоводов. Тетя Клава сказала, что бухгалтерия — не для меня и договорилась с промкомбинатским начальством, чтобы взяли меня референтом (у них так секретарши называются). А я потихонечку написала в Мурманск — не требуются ли юнги на теплоходы. Ждала месяц, ждала два и получаю от одного чудака ответ, что теплоходы в Мурманске не водятся, а есть плавбазы и БМРТ, на которые требуются судовые уборщицы. И пустилась я в путешествие, вернее в путеше. Что такое путеше? Ты в путь, а тебе по ше!

В общем, нашла ключик от приличной жизни — матрос-уборщик на плавбазе "Маточкин шар". 112 дней путеше, 26 —"При-ключе" и все сначала...

Море

Завтра порт! Майн гот, миленький, скорей бы. 105 дней не была на берегу. 105 дней не видела жизни. С утра пойду делать укладку, потом — по магазинам, потом... Потом вечер...

Берег

Подход дали только в шесть вечера. Вышла и тут же увидела Михаила Михайловича. Вытянув шею, он шагал по проспекту с пюпитром. Чмокнул меня в щеку и, тряхнув чубом, полетел дальше. Перед рейсом говорил, что готов ждать всю жизнь. А теперь? А, может быть, действительно ждал бы и сегодня встречал с цветами, если б не Алекс, чтоб ему ни дна, ни покрышки. По какому праву он мной командует? "По праву экспериментатора и вашего душеприказчика, синьора!"

Не успели познакомиться, как заявил, что я не женщина, а мечта абстракциониста и поэтому должна служить Святому искусству. Я спросила, что это значит, он ответил: "Вещь в себе должна стать вещью для нас. Так говорил философ Кант".

Я сказала, что не собираюсь быть ничьей вещью, тем более такого подозрительного субъекта, как он.

"Ничуть этому не удивлен, — сказал он, — поскольку женщины в принципе неспособны к абстрактному мышлению, — а вечером пригласил к себе в каюту. — На палубе, — говорит, — диалог о любви вести не принято".

В каюту к нему пришла, но сказала, что диалога о любви не получится. "Не желаете ли о дружбе?"

— Не понимаю, — опешил он.

— Напрягите извилины, — ответила я.

Он напряг и все понял и, конечно, набекрень. У мужчин вообще мозги набекрень. Потом он перешел на "ты" и спросил: "Хочешь, девочка, я стану твоим душеприказчиком?"

Я уточнила:

— На каких началах?

— Душеприказчики бывают только на одних началах.

— Ну, и что? — спросила я.

— А то, что прежде, чем принять решение, будешь испрашивать у меня совета.

— Всегда?

— Абсолютно!

Я подумала и согласилась. У мужчин мозги, конечно, набекрень, но это все-таки не Миркино "при-ключе". В общем, заключили договор. А через недели две я познакомилась на концерте с Михаилом Михайловичем. У него были большие добрые глаза и чернющий чуб — он играл на рояле и вечь вечер вертел голову в мою сторону. И улыбался. Пока мне это не надоело, и я показала ему язык. Он заулыбался сильнее и после концерта подошел ко мне. Он провожал меня на судно, говорил, что развелся с женой и теперь один, как перст. У трапа спросил, можно ли заглянуть ко мне в каюту, я сказала: "Нет!" Он поцеловал мне руку и взял с меня слово, что завтра опять приду на концерт. Я сказала: "Ладно, приду" и перед сном забежала к Алексу.

— Неплохое начало, — сказал он, — это ж Майкл, о, Майкл — это нечто... Бандит, каких не знает свет.

Весь следующий день ходила, как в воду опущенная. Майкл снова напрашивался в гости и поцеловал руку выше запястья. Потом еще. Я решила, что он прохиндей. Почему? А не почему! Решила — и все. А сегодня увидела Михаила Михайловича и подумала: а, может быть, зря так решила.

Берег

Неделя пролетела, как в тумане. Вечер похож на вечер. Сегодня ходили с Миркой в интерклуб. По дороге опять пристал какой-то тип из бичей, по-моему.

— Девушка, я вас где-то встречал.

Я не выдержала и расхохоталась. Мирка посмотрела на меня, как на сумасшедшую.

— Чей-то ты? — спросила она.

— А так, ничего! — ответила я. — Просто весело.

Мирка пожала плечами. "Послушай, — спросила я, — кем ты хочешь стать, когда вырастешь?"

— Чей-то ты? — как заведенная повторяла Мирка.

— А я знаешь, кем? — продолжала я, — хочу стать женой врача.

В глазах у Мирки просыпается интерес (начали с ерунды, а подошли к делу!) "Врача? — переспрашивает она. — Мама родная, что ж тут хорошего? Врачи все бедняки, на две ставки рвутся (все-то Мирка знает!). Лучше уж за инженера или за писателя".

— А почему, Мирка, за инженера? — Мирка молчит. Мученически морщит лоб. И вдруг избавление откуда-то сзади:

— Девушки, айн момент, разрешите проводить, куда торопитесь?

— К чертовой бабушке, на Абрам-мыс! — спокойно отвечаю я.

Мирка мечет громы и молнии и сразу теряет интерес к своему будущему. У меня тоже пропадает охота спорить. Правду я ей все равно не скажу, а именно, что когда вырасту, то ни за какого врача выходить не стану, потому что врачом собираюсь стать сама.

Чуть не забыла. У входа в интерклуб познакомилась с презабавным субъектом. Привязался он к нам у самой двери:

— Девушки, не прихватите с собой одинокого борца?

— Борцы нам нужны! — сказала я и провела его через контроль...

Берег

Полвторого ночи. Смолкла, наконец, моя подруга Мирка. Можно спокойно покурить и собраться с мыслями. Что за субъект Гудков? Послушаем для начала Мирку. Голос ее так и стоит в ушах. "Ты взгляни, Марточка, на себя и на его (терпеть не могу это ее "на его"). Интересная женщина, одни глазки чего стоят (это, конечно, я). А он? Дрын. Голова

бритая. Над бровями пыжи торчат. Глаза зыркают. И вообще, он малость с приветом. Обвяжется проводами и носится, а чего носится, когда в порту стоим? Или запрется в каюте и лежит, как идиот, науки изучает. Стармех при мне его спросил: "Ты чего все лежишь, как бирюк?" "А ниче, — говорит, — серое вещество тренирую". Тренер!

Права Мирка в одном: этот одинокий борец действительно капельку с приветом. Я поняла это еще на вечере. Танцевал он, как слон. Пыжился, стирал со лба пот (на лбу у него действительно два бугра) и ни с того ни с сего вдруг спросил: "Скажите, что вы сейчас испытываете?"

— Что? — спросила я. — Дикие страдания, вы отдавили мне, юноша, все ноги.

— А я, — сказал он, — испытываю ужас перед такой женщиной, как вы.

— Это, говорю правильно. — И похлопала его по плечу. — Еще, юноша, настрадаешься!

— Лично я, говорит, страданий не боюсь, выработал противоядие.

— Это какое же?

— А вот! — и хлопнул себя по лбу, — 200 миллионов нейронов.

Идем по причалам. Луна. Волна с моря бьет. Когда ж, интересно, возьмет под руку (если испытывает ужас перед такой женщиной, давно пора). Алекс бы уже взял, да любой бы взял. А этот в такую философию пустился, что я чуть с ума не сошла. Дай Бог все вспомнить. Значит, так. С первых лет жизни не чувствовал себя человеком. Мама была охранницей в лагере, папа — алкоголик. (Михаил Михайлович уж слезу бы пустил). А этот рассуждает и рассуждает. "Нехорошая, говорит, у меня наследственность. Но, ничего. Выстоим. Что такое, говорит, наследственность? Маленькая закорючка. А за меня горой двести миллионов нейронов!"

Тут уж я не выдержала:

— Послушайте, юноша, нельзя ли что-нибудь повеселее, ну, например, ваши планы на будущее. Кем станете, когда вырастете?

Смотрю, откашлялся, напыжился:

— Когда вырасту, как эта мачта, стану инженером по холодильным установкам. Получу комнату и прибью на двери дощечку: Инженер-технолог А.И. Гудков с супругой. Звонить шесть раз. Как, устраивает?

— Проза! Нельзя ли что-нибудь поэтичнее?

— Отчего нельзя? Можно! Вот слушайте стихи Алексея Гудкова "Смерть". "Мы умираем, мы умираем, нас каждый день зовет туда, но мыслью жизнь мы воскрешаем..."

— Устраивает?

— Почти... (подумай, как прорезался!).

— А план следующий: до сентября имеем шесть месяцев и четырнадцать дней. В сентябре — экзамены. Шесть месяцев и четырнадцать дней на четыре экзамена. Математика (письменная и устная) — три месяца, физика — два, химия — один, повторение — четырнадцать дней (ну, думаю, тип — сталь!).

— А я, знаете, кем хочу стать? Женой!

— Чьей? Не инженера ли?

— Нет-с, писателя! Можно поэта. Мне главное, чтоб одеваться, в норке ходить. Обожаю норку. И вообще, люблю красиво пожить. Днем в постели нежиться, кофий пить со сливками, а вечером — с мужем в ресторан. Устраивает? (Сейчас посмотрим, какой ты стальной).

— Почти. — Сказал, и смолк.

Я, конечно, дальше.

— Скажите, юноша, не найдется ли у вас закурить?

— Нет, говорит, не курю и вам не советую.

А уж к судну подходим, по трапу поднимаемся, время ему к делу подходить — не пригласите ли в каютку (вот, и еще одну разновидность мужесапиенса повидала!), а разновидность улыбается, как блаженный, и спрашивает, можно ли меня завтра в театр пригласить.

— Вообще-то, говорю, можно, только вот как физика, день пропадет!

— Ничего, говорит, не пропадает, до утра еще шесть часов.

Теперь, когда вспоминаю, точно вижу, что товарищ немного с приветом. Но мне это даже нравится. Я даже думаю, что

про всех великих людей говорили, что они малость с приветом. И даже про Пушкина говорили — это точно! Я даже знаю, как все происходило.

Приезжала его Натали на бал — первая при дворе красавица. Все монокли — на нее. И даже его величество: "Кхе-кхе, графиня, а где наш милый камер-юнкер?" Графиня морщит носик: "О, боже, все пишет, сочиняет, он у меня, Ваше величество, немножечко с приветом!"

Господи, какая дичь лезет в голову — с приветом, без привета. Муттерхен дала бы мне: "Человеком надо быть, а не финтифлюшкой, больно ветер в голове разгулялся!" Да, муттерхен, разгулялся, ну и что? Лучше быть с приветом финтифлюшкой, чем идти на твои бухгалтерские курсы и стать обычной плюшкой. Майн гот! Совсем свихнулась, стихами заговорила. Сколько времени! Пять минут четвертого... А этот, наверное, опять физику учит...

Берег

Вторую неделю база на приколе. Можно до ночи валяться в постели. Можно стоять на голове. Можно носиться по магазинам. Но самое прекрасное — все-таки валяться. Даже, если тебе и не подают в постель кофе со сливками, все равно — это блаженство: спать по 16 часов и только во сне видеть злого волшебника старпома и бабу Ягу кастеляншу, а наяву — никого: четыре стены, умывальник и круглолицая с шестимесячной завивкой золушка — Мирка.

После рейса мы с Миркой соревнуемся, кто кого переспит. Победительница — обычно Мирка (она утверждает, что если ей не мешать, она может не просыпаться пять дней), но теперь все это в прошлом.

Каждый день в 8.00 нас поднимает "будильничек", он не обдает нас веселым перезвоном, а, как оглашенный, рычит в замочную скважину: "Подъем!" Будильник предназначен для меня, но первая просыпается Мирка. Если бы кто-нибудь видел, какой ненавистью загораются ее добрые голубые глаза. Ненавистью и страданием: Господи, за что? Ее мученический взгляд обращен ко мне. А у меня отличное настроение, и мне ужасно смешно от этой вопиющей несправедливости.

Наше рандеву с Гудковым начинается в 9 (час уходит на сборы) и продолжается до 12 ночи. 15 часов блаженства и страданий. С утра сплошное блаженство: завтрак, стадион, кафе. К вечеру чело мрачнеет, и незаметно для себя он попадает в объятия к гиене огненной, да еще с тремя головами. Одна — мои бесконечные знакомые. Другая — мой чудный характерец, третья, главная, сидит в нем самом. Идем по проспекту. Что ни шаг — то знакомый, как будто специально! Я, конечно, плюю. Ну, что, если знакомые? Будь рад, что у твоей пассии столько друзей. Так нет, разве эта стерва даст человеку порадоваться, подстрекает и подстрекает.

— Что за тип, Марта?

— Старпом с "Полярной звезды".

— А этот?

— Майкл из горэстрады. Отличный мужчина. Точно?

Молчит, думает. (Ничего, будешь знать, как морячку любить!)

Море

С утра море стихло. Но палубу пока драить не заставляют. Можно лежать и плевать в потолок. Раньше мы с Миркой именно этим и занимались, а теперь она это делает в одиночку, поскольку вот уже месяц я, в некотором роде, женщина — семейная. Я это по крайней мере называю так, а как другие, меня не волнует. Другим, возможно, требуется ЗАГС, свадьба, фата... А я без этого обошлась. Собрала вечерком чемодан и перешла из своей каюты в его. Увидев меня, он чуть не свихнулся: "Что случилось?" А я спросила: "А что, нельзя?" Он ответил: "Конечно, можно, но мы же хотели, как полагается!" "А, может, я не люблю, как полагается, а люблю именно так".

Я боялась, что он спросит, почему именно так, тогда бы я не знала, что ответить. Но он сказал:

— Ладно, как полагается, устроим на берегу, а пока неплохо бы подзаправиться.

— А перед этим выпить, — сказала я и налила водки. Потом еще. И еще... А он вдруг как бешеный стал. А как же, юноша, театры? Как идеалы?.. Неужели и ты?.. Нет, кажется, он нет...

Берег

Каждый день вместе. Такого у меня еще не бывало. Чем это все кончится? Скорее всего — ничем! Надоест мне этот ангел (как зовет его Алекс), и точка.

Вчера он заступил на вахту, и наше рандеву не состоялось. Но все равно поднялась в 8.00 и отправилась в город. Зачем поднялась, не знаю. До часу болталась на улицах, пока все на свете не осточертело и от нечего делать забрела в библиотеку. Хотела спросить "Огонек", а спросила вместо него словарь Ушакова и открыла на букву "л" — "Любовь", и понеслась глазами по столбцу: "любить, любиться, любование, любоваться, любовный, любовь". Рядом со словом "любовь" было написано: "Чувство привязанности, основанное на общности интересов, на готовности отдать силы общему делу". Ученье — свет, неученье — тьма! Теперь я знаю, что откуда, что почем и сколько стоит.

Капитан говорит, что мы обязаны все силы отдать плану по рыбе. Мы и отдаем. Боремся, понимаешь, страдаем. На этой почве и возникает между членами экипажа чувство привязанности, то бишь любовь... После обеда возвращаюсь на судно и ставлю перед собой будильник. Теперь уже настоящий. Глазами подгоняю стрелки. 6-30, 7, 7-30... Вахта кончается в восемь. Четверть девятого — стук в дверь: Алекс! Я и забыла о его существовании. Входит и просит таблетку пирамидона. Даю. Не уходит.

— Чего тебе еще?

— Нет ли чего-нибудь почитать?

Даю "Крокодил". Опять стоит, дверь загораживает.

— Что-то не вижу в последние дни мою грешницу. Не хочет ли она что-нибудь сообщить?

— Да, хочет, хочет пожелать своему душеприказчику "гутен абенд". В иллюминаторе вырастает голова Гудкова, и он приглашает всех в кафе. Настроение взлетает, как ртутный столбик от зажженной спички. Я целую ошарашенного Алекса в щеку.

В кафе за наш столик подсаживается какой-то губастый субъект в тройке. Тут же выясняется: командировочный, знакомый Алекса и к тому же покинутый женой. Он мрачен, как туча. А я, когда у меня отличное настроение, хочу, чтобы все крутилось волчком.

— Послушай, девочка, — говорит Алекс, — не можешь ли ты превратить этого Чайльд Гарольда в Фигаро.

— С удовольствием! — Я этого, конечно, не говорю, я просто так думаю и, когда объявляют дамский вальс, приглашаю губастого танцевать. Когда я танцую, то обычно ничего не вижу, а тут почему-то вижу все: Алекс перемигивается с губастым, а губастый мне на ухо сообщает, что он в номере живет один.

— Подумайте, какое редкое везенье! — говорю я и вдруг обнаруживаю, что за столиком нет Гудкова.

— Где он! — спрашиваю я.

— Наш прелестный ангел велел кланяться, — говорит Алекс. Он пьян, и я не обращаю внимание на его дурацкую улыбку и на его "прелестного ангела". Велю Алексу немедленно брать такси, но по дороге вдруг вспоминаю про Ангела, вернее вспоминает Алекс: "Это тот, кто летает по прямой, — говорит он. — А птичка порхает зигзагами". Он кладет мне на плечо руку, но рука тут же отлетает:

— А ты кто интересно? — спрашиваю я.

— Я? Я — черт! — рука снова подкрадывается и снова отлетает.

— Что ж, посмотрим, чем этот эксперимент кончится, — говорит Алекс.

— Посмотрим, — говорю я, хотя не знаю, что и чем должно кончиться, просто говорю назло Алексу.

Гудкова застаем в каюте. Он сидит злой и неприступный.

— Здравствуй, дружок! Почему ты из кафе уехал? Правда, я и с Алексом не скучала. Но все-таки почему?

— Просто взял и уехал, механику надо к утру повторить...

— А я что говорил! — победно восклицает Алекс, он улыбается пьяной улыбкой и обнимает нас с Гудковым. — Вот мы и собрались три веселых поросенка: черт, ангел и заблудшая...

Какой же ты дурень, Алекс!

Море

Пятые сутки шторм. Ни за что не хочется браться, даже за дневник. Тетрадь сползает со столика. Все идет кругом: койка, умывальник... Хоть бы скорее кончилось...

Море

Весь вечер провели на палубе. Он стоял, засунув руки в карманы. Уставился на воду и все о чем-то думал. А мне что было делать? Я тоже стала думать. Конечно, было ужасно интересно, о чем думает он, о чем я или о чем-то другом. Я бы даже спросить могла, но как? "О чем думаешь, милый?" А он возьмет, как Алекс, и брякнет: "Марта, птички поют". И будет прав, и останусь я в дурах... Наконец, он сказал:

— Ты знаешь, Марта, сколько поваренной соли содержится в Атлантике?

Я разозлилась:

— Глупости! Этого никто не знает, пять миллиардов тонн неизвестности!

Сейчас спросит: "Почему неизвестности?". Но он крикнул:

— Все это чушь! — и поднял меня на руки, — вперед, синьора, нас ждут великие дела!

Мне нравится, когда он зовет меня синьорой, — значит, в поэтическом ударе, но "великие дела" — это уже чистая проза: "Геометрия" Барыбина и Никитина. Этой прозой мы занимаемся каждый Божий день, с семи до десяти вечера. По случаю медового месяца могли бы и пропустить. Как-то я сказала ему, что мечтаю стать врачом. Он ответил:

— Чушь, к апрелю надо пройти планиметрию — вот о чем ты думай, ты поняла: всю планиметрию за два месяца!

— Слушаюсь, мой господин, — сказала я.

— То-то, — сказал он и улыбнулся.

Но вчера вечером я не хотела заниматься планиметрией. Я хотела беситься и вспрыгивать ему на шею. А он крутил своей шеей и говорил:

— Ну хорошо, ну давай, хоть один параграф.

— Никаких параграфов! — командовала я, — вперед, мой конь!

— Ну, хоть скажи, что такое периметр?

— Никаких периметров!

Мне еще в школе не давались эти биссектрисы, периметры, тангенсы, котангенсы. Из всей математики мне только нравится одна вещь: квадратура круга. Мне кажется, я понимаю ее до глубины души: сколько квадратов в круг ни вставляй, — все равно круг не заполнишь и, хоть убейся, квадрат никогда не сольется с кругом, хоть маленький кусочек, но останется незаполненным...

— Как ты, Гудков, понимаешь квадратуру круга?

— Очень просто. Давай пиши.

— Пиши сам! — мне хочется зареветь от злости. Но злость проходит. Мне вдруг начинает нравиться его железная деловитость. Не то что Алекс с его птичками.

Берег

В порт вошли на рассвете. Гудков вскочил первый и прямо в трусах уселся скоблить бороду. Наскоблившись до синевы, он одернул шторку на иллюминаторе и весело загорланил: "Что час грядущий нам готовит!" Горланил, горланил, пока не накаркал. Пришел старпом Тимоша и велел ему до вечера заступать на вахту, и я, как бывало в старые времена, отпра-

вилась в город одна. Шпарило солнце. Я шла в своей мини-юбке, в своих английских лодочках и ловила на себе взгляды встречных мужчин.

В Мурманске в жаркую погоду их видимо-невидимо. И все отлично одеты. И все глазеют на женщин. Я, конечно, могла свернуть, но я не стала сворачивать. Мне ужасно нравилось, что на меня глазеют и даже захотелось маленького "при-ключе", чтобы кто-нибудь из них крикнул: "Девушка, простите, но я вас где-то видел" — "Вы знаете, и я вас тоже" — "Так, может быть, прогуляемся?" — "Почему нет? Можно!"

Но эти мальчики шли, точно набрав в рот воды, еще более глупые, чем всегда.

Может быть, зайти в ресторан и познакомиться с каким-нибудь норвежским штурманом? Или прямо на проспекте пристать к какому-нибудь управляющему СМУ, солидному отцу семейства: "Не хотите ли, товарищ, пройтись с холостой морячкой?" Я так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как у "Детского мира" меня нагнал Алекс. Он на ходу взял меня под руку, стал сочувствовать и сокрушаться: такая женщина да еще в такой день должна быть совсем одна...

— Почему одна? Хочешь вон с тем очкариком познакомлюсь? Сию же минуту!

— Жажду, — сказал Алекс, — чтобы с ним сию же секунду.

— Послушай, Алекс, а как же Гудков?

Алекс расхохотался:

— Очаровательно! Ангел передает подруге вирус порядочности...

— Вот именно! — сказала я, — юмора не понимаешь, Алекс! Я помахала Алексу ручкой и двинулась дальше. Дошла до конца проспекта и оказалась в парке около детской карусели. На такой штуке с деревянными конями и оленями и прочими животными я обожала кататься в детстве.

Эта карусель оказалась побольше нашей гурьевской и была расположена в небольшом квадратном палисаднике с новенькой зеленой оградой. На карусели кружилась ребятня, а вдоль ограды внутри палисадничка стояли папы и мамы и знаками показывали оболтусам, чтоб не очень буйствовали.

Я подошла к кассе и купила сразу восемь билетиков, уселась в седло рядом с двумя шпендриками и, как когда-то в детстве, сгорая от восторга, обняла своего вороного. Перед глазами закружился, как бешеный, квадрат палисадника с серьезными папами и мамами.

Наша карусель набирала скорость, казалось, она вот-вот слетит с оси и по инерции вырвется из палисадника, который вдруг утратил свои очертания. Но вот скорость пошла на убыль и, затормозив, карусель встала.

Я снова увидела квадратный палисадник, а в середине — карусель и про себя подумала: "Квадратура круга". Так просто взяла и подумала. А карусель опять закрутилась, и мне снова пришла мысль о квадратуре круга — жутко дурацкая мысль, прилипла, как банный лист, и я никак не могла от нее отвязаться. Получилось, что квадратура круга существует взаправду. Конечно, квадратиками не заполнишь круга, но круг может великолепно жить в квадрате и еще может при этом бешено крутиться, как эта карусель в палисаднике.

Я хотела остановиться, но фантазия разыгралась, как сумасшедшая. Круг всегда веселый, как эта карусель с конягами и оболтусами, а квадрат всегда скучный и правильный, как эти папы и мамы. Весь мир состоит из кругов и квадратов: дома на проспекте квадратные, дворы квадратные, а фонари на столбах круглые и дамские шляпы на витринах круглые. Я так погрузилась в эту ахинею, что не заметила, как оказалась в порту, возле нашего двенадцатого причала. На судне стоял дым коромыслом. Алекс прямо с трапа потащил меня к себе в каюту и от имени компании, собравшейся у него, потребовал, чтобы я пила штрафную. Гудкова на судне не было. По словам Алекса, к вечеру он впал в шизофреническое состояние и двинулся меня искать.

— Итак, господа, перед вами женщина с картины Пикассо. Судовая XX века!

Кто-то крикнул:

— Очаровательно!

— Все идет кругом, — улыбнулась я, — а не квадратом, квадратом идти не может...

В ночной компании оказалось двое незнакомых. Один — высокий рыжий, в рыжих очках, похож на Смыслова, другой — совсем старикашка, с трубкой и длинным крючком носом ("А ты, папаша, зачем здесь!") Рыжий подал мне руку и сказал: "Гарик!" Папаша тоже подал мне руку и сказала: "Альберт!"

— Врачи... — шепнул мне Алекс, — из ОСВОДа комиссию прислали...

— Врачи — это хорошо! — сказала я и выпила коньяку.

— Вы считаете? — спросил Альберт и пригласил меня танцевать.

Он курил "Золотое руно" и часто моргал маленькими умными глазками, будто его кто-то двинул в спину, и он никак не мог оправиться. Меня так и подмывало спросить, сколько ему лет, но вместо этого я спросила, зачем на "Маточкином шаре" ОСВОД.

— Гарик, ты не знаешь, зачем на "Маточкином шаре" ОСВОД? — обратился он к рыжему.

— Нет, не знаю, а ты, Альберто?

Мы продолжали танцевать, и я почувствовала, как у меня явно поднимается настроение.

— Вам не кажется, что все идет кругом? — спросила я.

Альберт не успел ответить. Подошел Алекс. Он был пьян:

— Разумеется, кругом: жизнь, цивилизация, история!

— А почему, собственно, кругом, а не квадратом? — вдруг взыграло во мне чувство противоречия.

— Доктор, скажите девочке, почему кругом, а не квадратом?

Алекс высвободил меня из мягких рук Альберта и повел танцевать. Именно в эту минуту в каюте появился Гудков. Алекс, держа меня под руку, двинулся ему навстречу.

— А это, джентльмены, мужчина с картины Герасимова.— Я вырвала у Алекса руку и подошла к Гудкову. Никогда не замечала, что он такой громадина. Выше всех в каюте. Алекс рядом с ним шпингалет. Гудков стоял, опустив голову, и улыбался какой-то не своей, деланной улыбкой. Я налила ему коньяку. Он вскинул стакан.

— С приходом, братцы!

Рыжий Гарик, сидевший развалившись на диване, прошепелявил:

— Не понимаю, кто к кому пришел!

— Мы пришли к вам, понятно? — сказал Гудков, выпил и отяжелевший опустился в кресло...

Берег

Двое суток Гудков не разговаривает со мной. И все это после вечеринки у Алекса. Черт возьми, и у меня скребут на душе кошки...

Берег

Теперь у меня два учителя: учитель Гудков и учитель Альберто. Чему меня учит Гудков, видишь сразу, как входишь в каюту. Каюта похожа на класс для "продленки". Чему меня учит Альберто, не может сказать никто. Позавчера он пригласил меня к себе. В каюте я увидела во всю стену плакат: "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Под ним три фото. Очаровательная Марина Влади на лазурном берегу Средиземного моря. Рядом Альберто верхом на бревне. Третье фото — какая-то старушенция испепеляет Альберто своим зверским взглядом.

— Моя роковая маман, — объяснил Альберто и налил мне чашечку растворимого кофе. Затем спросил, не хочу ли я стать врачом-осводовцем. Я сказала, что спасать утопленников — мечта моего детства. И он торжественно извлек из чемодана тоненькую брошюрку: "Правила поведения отдыхающих на воде".

Я спросила:

— Не маловато ли?

Альберто часто заморгал глазками и сказал:

— Ты думаешь? — И вручил мне тут же еще одно произведение — "Правила поведения на воде детей дошкольного возраста".

— Теперь, дитя мое, будешь знать столько же, сколько мое начальство. — И невозмутимо задымил трубкой. Но я все-таки выцыганила у него анатомический атлас и, когда Гудков на вахте, потихоньку изучаю его. Альберто говорит, что в моем возрасте такой интерес к человеческим органам — явление патологическое, а сама я в этом краю непуганых идиотов — явление уникальное с неизученной этиологией. Я хотела спросить, что такое этиология, но вместо этого спросила, есть ли у Альберто жена. В каюту вошел Гарик.

— Гарик, есть ли у меня жена? — спросил Альберто.

— Нет, Альберто, но у тебя есть маман, и этого с тебя вполне достаточно.

Тогда я все же спросила, а что такое этиология?

— Гарик, что такое этиология?

— Этиология, Альберто, — это то, почему у такой маман, как твоя, получился такой шлимазл-сын!

— О! Опять этот певучий французский язык! — сказал Альберто, — ты бы хоть постеснялся...

Но кого должен был постесняться Гарик, я так и не узнала. В двери появился Гудков и показал мне знаком, чтобы я немедленно шла домой.

Берег

Учитель Гудков с первого дня не переваривает учителя Альберто, и поэтому я стараюсь брать уроки у второго, когда первый на вахте. Когда Альберто в ударе, от него можно узнать массу интересного. В годы молодости он ассистировал у профессора Розанова и за свою жизнь вырезал 176 аппендицитов и 132 грыжи (статистика его собственная). Последнюю грыжу он чуть-чуть перерезал и на старости лет оказался в ОСВОДе.

— ОСВОД — это тоже неплохо, живая работа и всегда на свежем воздухе, — говорит Альберто, — хотите, дитя мое, убедиться?

— Хочу! — сказала я, и Альберто взял меня подежурить на спасательный катер. Дежурили с семи до двенадцати ночи. Альберто не умолкал: я за всю жизнь не услышала такого количества фантастических историй. Но без четверти двенадцать случилось ЧП — у первого причала свалились в воду два пьяных бича. Надо было видеть физиономию моего учителя, которого прервали в самом интересном месте. Но куда денешься: он делал искусственное дыхание, а я ассистировала.

— Отлично, дитя мое, — повторял он. — Когда я вырезал сотый аппендицит, меня вызвали в райздрав и сказали: "Мы хотели вам вручить грамоту".

— Ну и что же вам мешает? — спросил я.

— У нас нет сейчас бланков...

— Ну и что же вы хотите от меня? — спросил я.

— Мы хотим, чтобы вы и дальше работали у нас.

В нашем райздраве всегда было неплохо с юмором. И сейчас, когда эти два невоспитанных хама начали шевелиться, я хочу вам, дитя мое, заявить:

— Вы заслуживаете торта и цветов. Но в порту сейчас не достанешь и ржавого пряника, а посему прошу и дальше мне помогать при спасении пострадавших бичей.

Ужасно забавный этот Альберто.

Берег

Сегодня мой кумир меня чуть не прикончил. Так с ним намучилась, что нет сил писать. Отложу до утра...

Берег

Ох, какая же это была сценка! Светило солнышко, журчал ручеек. А он, подняв меня над ущельем, как попка-дурак повторял: — Смотри мне в глаза! — Я смотрела и про себя думала:

— Ну и влипла, убьет! А за что? У меня нет никакого желания отдавать концы. Как там его прозвал Алекс? "Ангел!" Хорош ангелочек! А потом озверел и вдруг стал раздевать — идиот! Животное, и что в нем есть? Что? — В одну секунду куча мыслей, а сейчас пустота, как будто выветрило за ночь мозги. Он еще спит, головы не видно. Спит, как всегда с головой под одеялом. Из-под одеяла торчат носки. Дурацкая манера — спать в носках. Говорит, что у него стынут ноги. Такой верзила и стынут ноги. А носки — отличные. Мой вкус, наверное, полчаса выбирала: коричневые, в черных квадратиках... Вечером в кают-компании мне Алекс сказал, что он меня не узнает, как я могла все это вытерпеть. За такие штучки бьют по физиономии. Этот всегда тут как тут. И всегда — за меня. А я? А я всегда против него. А почему, не знаю. Я вообще никогда не знаю, почему делаю так, а не эдак.

Гудков говорит: "Когда что-нибудь не знаешь, призови на помощь серое вещество и разберись..."

Между прочим, он-то отлично умеет это делать, у него всегда все в полном порядке, а у меня, хоть лопни, не сходятся концы с концами.

После вечеринки в "Космосе" подошел ко мне Алекс и сказал:

— Есть отличная идея — завалиться на всю ночь на Абрам-мыс, в одну отличную квартирку.

Подлетела, конечно, Мирка. Она никогда не была такой красивой и круглой:

— Марточка! Тряхнем стариной, устроим маленькое "приключе".

На вечере Гудков был распорядителем и в конце куда-то провалился. Я велела, чтобы его обязательно разыскали, но его не нашли. Я сказала (кажется, Алексу), что без Гудкова никуда не поеду, а он, по-моему, сказал, что хоть из-под земли, а разыщет ангела.

Ехали все в одной машине: я, Алекс, Гарик, Альберто и Мирка. Мирка, как Ванька-встанька, подскакивала на заднем сидении и восклицала:

— Ой, мужчины, умираю!

Альберто курил трубку, смотрел на меня и виновато моргал глазками. Я спросила:

— Где Гудков?

Альберто сказал:

— Гарик, где Гудков?

— Альберто, где Гудков? — ответил Гарик.

Я потрепала Альберто по щечке и расхохоталась. Со мной это бывает, если я злюсь и не знаю, что делать.

Когда приехали, то пили еще. И я оказалась с Альберто в одной комнате. Он сел на ковре у моих ног и стал говорить, как похабно ему живется в этой жизни, а мне стало малость муторно. Все-таки свинство: жил человек, жил, грыжи людям резал, а стал старикашкой и никому не нужен. Я хотела ему что-нибудь сказать, а он схватил мою руку, прижался и заплакал. А я подумала: "Почему до сих пор нет Гудкова?".

Я хотела встать и пойти к двери, но Альберто вцепился в мои руки и не отпускал меня. Я вырвала у него руки. Мне ужасно жалко было Альберто, но я терпеть не могу эти штучки. Лучше бы сказал, где Гудков. Вошел Алекс. Улыбнулся и обнял меня за плечи.

— Что за шум, а драки нет. Может быть, скроемся на часок-другой от мирской суеты.

— Где Гудков, говори! — я выбежала в коридор и сдернула с вешалки пальто. Алекс был рядом.

— Ты с ума сошла, девочка, три часа ночи...

Я вышла на лестницу. Алекс был рядом.

— Уверяю тебя, он преспокойно дрыхнет в каюте, твой ангел.

Я искала глазами такси, но на этом чертовом Абрам-мысе они словно провалились. И я пошла пешком. В шесть я была в порту. В полседьмого подходила к причалу. По дороге за мной увязался какой-то бич. Я из-за всех сил толкнула его, и он въехал в лужу, обрызгав меня с ног до головы. У причала встретила Гудкова. Увидев меня в таком виде, он не удивился, он даже будто обрадовался. И, не заходя на судно, повел меня в какую-то расщелину. Вначале зачем-то угощал водкой, а затем ни с того ни с сего поднял над пропастью.

Как он меня не убил, до сих пор не знаю. Он точно идиот: вначале чуть не убил, а потом повалил, прямо на скале... Что все это значит?

Гудков чуть не убил, а Алекс стал защищать, а Альберто сказал, что он без меня не сможет жить, а я ему сказала, что все это муть, и в самом деле муть все это.

Море

Двадцать дней шли на Банку Джорджес. Чуть не сошла с ума. Завтра приходим на промысел. Слава Богу! Поживем, как люди, полежим, как люди, на солнышке, позагораем, а там и в обратный путь...

Море

Жарища неимоверная. Где-то внизу полощется море, а мы лежим на вертолетной площадке и блаженствуем. Мы — это Гудков, Мирка и я. Гудков, как всегда, при деле. Подставив солнцу грудь, что-то читает. Что именно, я не знаю. Мне лень повернуться в его сторону. Мирка, укрыв голову полотенцем, что-то мурлычет себе под нос. А я смотрю в небо и раздумываю над вопросом: что заставляет меня ходить в море. Я бы никогда над этим не задумалась (как говорит Мирка, видела я этот вопрос в гробу и в белых тапочках), если бы вчера нам не раздали анкету, в которой первым пунктом стояло: "Какие причины побудили Вас пойти в плавание (деньги или романтика)?"

— Ну, конечно же, романтика! — сказал Алекс, — дураков нет!

— Точно! — подтвердила я, — романтическая "Волга" за пять пятьсот!

— Все-то ты, девочка, знаешь, — сказал Алекс и написал: "В море хожу исключительно из романтических побуждений. Вне моря не мыслю своей жизни".

Мирка, чтоб не рассусоливать, написала просто: "Романтик моря!". То же написали и остальные. Только мой чудик поставил: "Деньги!" И приписал: "Деньги дают человеку относительную самостоятельность. По крайней мере, до тех пор, пока он не получит высшее образование".

Утром его вызвал помполит и имел с ним разговор: "Экипаж передовой, сознательный, а ты своими деньгами всю песню испортил". (Я-то знаю, что за орешек мой супруг!).

Я от греха подальше тоже написала "романтика", а сейчас солнышко пригрело и задумалась: "А что же побуждает на самом деле?" Раньше было все ясно — то же, что и Мирку, что и всех наших морячек, а что теперь? (Кроме глупостей, ничего не лезет в голову). Напиши правду, не поверят (скажут, дура сентиментальная).

У каждого на земном шаре есть облюбованное место — один тратит бешеные деньги и летит с Сахалина в Сухуми, целый год трудился ради месяца в Сухуми. Другой миллионер какой-нибудь выстраивает себе коттедж в Ривьере. А я подряжаюсь на плавбазу уборщицей и плыву себе на Банку Джорджес. Зачем плыву? А ни за чем. Чтобы так вот развалиться в купальнике на вертолетной площадке и глазеть в небо. Небо на Джорджес такое, что можно рехнуться. С утра над нами плыли малиновые колеса с малиновыми ободами, за ними малиновые квадраты, похожие на коробки небоскребов, за ними снова круги и снова небоскребы... И даже море, как будто его слегка подкрасили, стало совершенно малиновым.

Гудков сказал, что это у меня от солнечных очков. А мне наплевать от чего — мне бы всегда так лежать и глазеть на небо, и видеть малиновые колеса, на которые можно усесться и, ухватившись за обода, укатить на Марс или Юпитер.

Я так расфантазировалась, что не заметила, как осталась на вертолетной площадке одна — и сама не знаю, сколько пролежала. Когда очнулась, то увидела рядом Гудкова. Он стоял на коленях, склонившись надо мной. На плече у него болтался моток проводов (видно, только что с вахты). В руке держал баночку с вазелином и, погружая в нее два пальца, легонько растирал мне плечи.

— Обгорела, ей-ей обгорела. Разве так можно…

Он помог мне подняться, обернул полотенцем плечи, и через десять минут мы сидели в каюте и пили чай.

В море Гудков совсем не тот, что на берегу. На берегу он нервничает, клокочет, а в море спокоен. Но мы все равно без конца ссоримся. Особенно, когда говорим о будущем. Мне кажется, он вообще не может говорить о будущем, он только начинает с него и тут же переходит на настоящее и обязательно на меня. И сегодня так получилось. За чаем сказал:

— Ты знаешь, Марта, я тут прибросил капиталы, к осени, может, куплю тебе кооператив.

Эти голубые мечты действуют на меня, как красное на быка (но я стараюсь сдержаться).

— Мне значит? И что я там буду делать?

— О! У тебя будет масса обязанностей. А. Будешь учиться в десятом классе. Б. Будешь хозяйкой дома. В. Будешь ждать возвращения мужа из плавания...

— Не буду!

— Что не будешь?

— Ничего не буду — ни учиться, ни вылизывать полы, ни ждать мужа. Плавать буду...

— Ну хорошо, давай прекратим этот разговор.

Я молчу. Лучше, действительно, прекратить.

— Странное дело, с каким-то Альбертом ты можешь ворковать всю ночь, а о серьезном деле с тобой нельзя говорить.

Я молчу.

— Кстати, я тебе не советую столько лежать на вертолетной площадке. Во-первых, можешь получить солнечный удар, во-вторых, это не прилично. Лежишь, извини, в костюме Евы, а все вокруг ходят. Сегодня один бич с СРТ на тебя морской бинокль наставил...

Но это уже слишком!

— А мне, может, нравится, когда на меня бинокль наставляют!

— Нравится, — он встает, — нравится, значит! Отлично!

На шум появляется Алекс. На лице у него улыбка. Такая лучезарная улыбка. И он тихо насвистывает: "Сатана там правит бал..."

Берег

Говорят, что человек от долгой жизни в море может тронуться. Мы с Гудковым одинаково дуреем — и в море и на берегу. Трое суток были в разводе. В его серое вещество закралось страшное подозрение: будто в Ленинграде меня в 24 часа выселили из гостиницы, а в Гурьеве я завела себе подпольных дружков Андрея Степановича и Эдварда Геннадиевича.

— Не вздумай отрицать, я по глазам все вижу.

Что бы ответила разумная женщина? Дурак! — сказала бы она. — Во-первых, когда в гостиницу приезжают интуристы, то в 24 часа могут выселить даже святую Магдалину, а, во-вторых, подпольные дружки Андрей Степанович и Эдвард Геннадиевич — это наши гурьевские парни Алька и Эдька — и мы всегда называем друг друга по имени отчеству. А что ответила я? Со всем согласилась. Зачем? А не за чем. Из принципа. Что просил, то и получил.

— Выселили из "Астории"? Да, выселили, как последнюю судовую.

— Появились сомнительные дружки? Да, появились. И, между прочим, отличные парни.

На это разумный мужчина сказал бы:

"Брось ерундить, старуха, так я тебе и поверил, — а он побелел, как лист бумаги, вцепился мне в плечи и с силой толкнул меня на диван. — Если б не отвечать перед законом, я бы знал, что с тобой сделать. Знал бы!" "Ну, думаю, сейчас двинет". Глаза налились. Не двинул. А так тихо процедил сквозь зубы: "Сейчас мы проверим... Сейчас все проверим..." "Идиот, дверь, хоть, запри!" Не запер. А потом, когда встали, сказал вдруг тихо, тихо: "Интересно все это у тебя получается, очень интересно..." "Да, интересно!" — ответила я. Подлетела к зеркалу, и, разглядывая себя, засмеялась, эдак весело засмеялась: "А я, между прочим, ничего!"

Берег

Настроение дикое. Писать не могу. От злости чуть не изорвала дневник...

Берег

С утра отправилась на проспект. Иду и вдруг из-за спины голос:

— Марта!

Майн гот, Майкл! (Почему Майкл, а не Михаил Михайлович) "Я о вас, Марточка, без конца думал, вы — единственная в Мурманске".

— Это, зачем интересно, думали?

— То есть, как зачем, — тряхнул он чубом, — это же от сердца, Марточка, вот отсюда, — он похлопал ладонью по своей полной груди, а я подумала: "Сметана, а не мужская грудь". Мужчина должен быть мужчиной, пускай бритый, пускай с шишками на голове, но женщина всегда отличит мужчину от не мужчины...

А он свое:

— Так когда мы свидемся, дитя мое, для меня это важно.

— Важнее жизни? — спросила я.

— Важнее жизни! — рассмеялся он и хлопнул себя снова в грудь. — Ну и когда же?

— Завтра, завтра, с утречка, — сказала я и пошла прочь. Я чувствовала на спине его взгляд. Так смотрят, наверное, на сумасшедшую, и настроение стало совсем скверное.

Людей на проспекте почти нет. Вернее есть, но все страшно деловые и друг друга не замечают, каждый, будто в скорлупе. И все, как заведенные, бегут, а куда бегут... Я завернула в горсад и увидела карусель в палисаднике. Ту самую. Карусель не работала. На калитке висел ржавый замок. Карусель круглая, а замок квадратный. Опять эта чушь. Я сделала шаг к калитке и чуть не угодила каблуком в лужу. Дуреха! Ведь тогда был май, а теперь октябрь, какая же может быть карусель? Вернулась на судно и чувствую: дело совсем труба. Брожу по палубе. Навстречу, конечно, Алекс.

— О, девочка, как жизнь?

— Отлично!

— Может, съездим в город, в "Космос"?

— В "Космос" (а, была-не была!) с удовольствием!

И поехали. В дороге вроде бы даже поднялось настроение, зато там началось. Бедный Алекс! Нет, не бедный, железный...

Он: потанцуем?

Я: нет, не потанцуем.

Он: пройдемся?

Я: нет, не пройдемся.

Он: кладет ладонь мне на колени.

Я: ударяю колено об стол.

Он: явно обижен, трет платочком очки.

Я: Алекс, как ты думаешь, ты настоящий мужчина?

Он: до сих пор жалоб не поступало...

Я посмотрела на него: майн гот, настоящий хорек. Подбородок тоненький, носик остренький...

— Алекс, на судно хочу!

— К ангелу? — И улыбается, как хорек...

— Да, к ангелу!

— А ко мне?

Еще вопрос, и я за себя не ручаюсь. Но вопроса не следует. На палубе Алекс меня о чем-то спрашивает, кажется, не зайду ли к нему на чашку чая? Я не отвечаю. Я спешу. Я стучу в каюту — в нашу с Гудковым. Никто не отзывается. Стучу еще. Молчок. Отворяю дверь. Спит. И опять в моих носках. С квадратиками. Я сдергиваю с него одеяло.

— Что случилось? — ошалело смотрит он на меня.

— Ничего! Воздушная тревога!

— А, это ты?

—Да, я!

— Ну и молодец, что ты, — он улыбается, — всегда бы так, — и притягивает меня к себе.

— Что, что всегда? — хочу заорать я, а вместо этого говорю:

— Может быть, ты все-таки подвинешься.

Берег

Затишье длилось три дня, а сегодня снова чуть не отошла в мир иной. В гостях у бывшей хозяйки я что-то ляпнула в разговоре (даже не вспомню что), а он схватил с вешалки шинель и с глаз долой. Я — за ним. Он — бегом, я — за ним. Проклинаю себя, а бегу. Ему, дрыну, хоть бы что, а я женщина хрупкая, мечта абстракциониста. От этого марафона чуть не скапустилась. Всю ночь от меня не отходил, а утром, когда очнулась, вдруг говорит:

— Ты знаешь, о чем я думаю, искренне ли все это?

Гляжу на него, идиота, и чувствую, как к горлу что-то подкатывает и вдруг: майн гот! (сама не знаю, как получилось) засмеялась, весело так засмеялась:

— А, может, я тебя испытываю, силу твоего чувства?

— Артистка...

— Да, артистка, я кого хочешь могу сыграть.

Смотрю, глаза наливаются, встает, но и я уже с тормозов сорвалась:

— Хочешь, сейчас презрение сыграю, как я тебя презираю?

Не успели появиться на судне — стук в дверь: Алекс! Стоит, улыбается:

— А у вас заварочки не сыщется, чефирку захотелось?

Улыбается и тихонько себе под нос насвистывает: "Сатана там правит бал..."

Гудков вышел, хлопнув дверью, а я спросила:

— Чего ты все мурлычешь, как будто тронутый?

— Ха! — говорит, — это я не мурлычу, это он во мне поет.

— Кто, — спрашиваю, —он?

— Черт, девочка, черт. Мне в аспирантуру надо готовиться, диамат с истматом штудировать, а я не могу, тянет меня сохатый. Вот сейчас взял и к тебе притянул. А зачем? С какой целью? Притянул, чтоб сбить с панталыку будущего соискателя Раевского. Он и в тебе, девочка, сидит. Какая у тебя перспектива! Отличный жених. Не пьет. Не курит. Все дни Закон Ома долбает. Тебе с ним на крыльях в ЗАГС лететь, а сатана не дает. Не выносит он отличных женихов, которые целый день Закон Ома долбают. И вообще, он страшный нахал и вечно путает порядочным людям карты.

— Глупости! — говорю. А сама думаю: "Глупости, да не совсем: какой-то рогатый во мне сидит — это точно. Сидит и издевается". Последнее произношу вслух.

— Точно, сатана! — улыбается Алекс, — а то бы сейчас помчалась за Гудковым, а он хвать тебя за юбочку и не дает и не даст никогда в жизни. У нас с тобой, девочка, души родственные, твой черт и мой черт — братья, сколько ни бегут друг от друга, а все-таки убежать никуда не могут.

Берег

Слава Богу, все уснули. Можно кое-что и записать. Во-первых, где я — в больнице. В палате у нас семь коек. Моя крайняя и стоит у самого окна. В окне торчит семиэтажный дом и мутный квадрат неба. На рассвете, когда солнце всходит, квадрат раздвигается и белеет, а к утру делается маленьким и серым. В Мурманске небо всегда серое, и по нему никогда не катятся колеса. Лично мне колеса приносят счастье, и потому на Банке Джорджес у меня никогда не случаются неприятности. Кто-то идет, пора кончать.

Берег

Наверное, у меня очень мрачная физиономия, потому что следователь, который торчит в палате с самого утра, без конца повторяет: "Успокойтесь, Гулиевская, теперь уже во всем разберемся".

"В чем это во всем?" — думаю я. На вид следователю года двадцать три, по-моему, он — вообще стажер. Мне так и хочется ему сказать: "Напрасно, юноша, теряешь время". Но этого энтузиаста голыми руками не возьмешь.

— Так, говорите, никто вас до такого состояния не доводил. А не было ли у вас, Гулиевская, знакомого мужчины?

Мое терпение кончается.

— Был, говорю, и не один. Я вообще питаю слабость к мужскому полу.

Следователь хмурит брови.

— Острите, Гулиевская. — Он явно хочет сказать что-то, но в палату вваливаются наши — человек пять во главе с моей бывшей визави Миркой. Нанесли конфет, цветов, а когда прощались, Мирка на минуту задержалась и сказала:

— Не волнуйся, подруга, весь личный состав за тебя!

"Да они просто рехнулись" — подумала я.

— Издеваться над человеком не позволим! — сказала Мирка, чмокнула меня, как покойницу, в лоб и исчезла. А я снова стала смотреть в окно. Квадрат сжался и почернел, как дистрофик. Я задремала. Сколько дремала, не знаю, и проснулась от того, что услышала рядом с собой знакомый голос.

— Подъем! — гаркнул в ухо голос. Рядом с койкой стоял улыбающийся Гудков и вываливал из авоськи апельсины. (Был девятый час вечера, обычное его время.) — Ешь, поправляйся, — улыбнулся он, — три килограмма витамина "Ц".

Я посмотрела на себя в зеркало, остался один рот и глаза. И еще волосы, черные и длинные, как у колдуньи.

— Отличная женщина! — сказал Гудков.

"Врешь!" — подумала я (а, может, и не врет, может, я просто к нему придираюсь). В руках у Гудкова томик Есенина.

— Почитаем?

— Нет, не почитаем, — говорю.

В палате Гудкова не любят и, когда он приходит, молчат, как будто набрали в рот воды. Но Гудков этого явно не замечает.

— Может, обсудим, насчет отпуска?

— Нет, не обсудим! — я чувствую, как во мне просыпается раздражение.

— Завтра меня выписывают, — говорю я.

— Отлично, тогда все и обсудим, — он улыбается, очищает апельсины и разламывает на дольки. — А сейчас примемся за витамин "Ц".

— Примемся, — говорю я (настроение мгновенно взлетает) . Я весело жую апельсин. Затем одеваю бумазеевый халат и иду проводить Гудкова. Волосы лезут в глаза и даже в рот. Я пытаюсь их отбросить назад и от слабости едва не падаю. Гудков подает мне руку, и мы чинно гуляем по коридору.

Море

Рейс короткий — 35 дней. Первые дни только и было разговоров о моем "при-ключе". Теперь тема другая. "Маточкин шар" встает на капремонт, а значит всему личному составу на полгода отпуск. Перед рейсом получила письмо от муттерхен — приглашает с Гудковым. Письмо в стиле муттерхен. "Дорогие дети, очень хочу вас видеть вместе. Приезжайте. Поживем немного всей семьей". Что-то мне не нравится это "всей семьей", и поэтому насчет письма я помалкиваю. Гудков насчет отпуска тоже ни слова. В общем, живем так, будто за плечами лет двадцать семейного "счастья". Разговоры такие: "Кушала?" "Кушала". "В кино пойдешь?" "Пойду". "Белье на койках сменила?" "Белье на койках сменила".

Правда, у Норд-Капа он ожил, сказал, что прошел всю программу и теперь может позволить себе отдохнуть. По этому поводу устроили вечеринку. Гудков был в ударе. Читал Есенина, и все тосты поднимал за меня, за лучшую женщину в Атлантике. Мирка, как оглашенная, орала "горько" (при чем тут "горько"?). Один Алекс сидел злой и мрачный. А когда все разошлись, Гудков встал передо мной на колени и стал говорить, что он чувствует себя страшной свиньей.

— Ну, это ты зря, — сказала я, — все мы относимся друг к другу, как свиньи. Лучше бы прокатил по палубе с ветерком. Я вскочила к нему на спину и пришпорила: "Вперед, мой конь!"

Берег

Второй месяц, как мы дома, в достославном городе Гурьеве. Друг от друга ни на шаг. Гудков купил два обручальных кольца и теперь по улицам ходит, положив руку мне на плечо. Счастливая семья! Но кто действительно на седьмом небе, так это муттерхен. От Гудкова она без ума и каждый божий день твердит мне, чтобы я ценила своего мужа. А муж без ума от тещи. Я просто-таки не знаю, что мне делать в этой "безумной" компании. Впрочем, за меня все знает Гудков. Он говорит, что был бы счастлив, если бы я хоть на пятьдесят процентов унаследовала таланты муттерхен. Она получила приз на общегородском конкурсе, и посему за время отпуска я должна научиться мариновать огурцы и яблоки, шинковать капусту, стряпать уху, варить кисели и компоты. Вчера у меня сгорел пирог и вообще дело у меня подвигается страшно туго. Я сказала Гудкову: "Ничего не попишешь, рожденный ползать летать не может". "Сможет, — говорит он, — терпенье и труд все перетрут, верно Прасковья Филипповна?"

— Да я б для такого мужа молоко по утрам кипятила!

Муттерхен, как всегда, в своем репертуаре, и я, оставшись в меньшинстве, закругляю этот веселенький разговор. Я б с удовольствием вышла пройтись, но выходить в "свет" без мужа мне строго-настрого запрещено.

Берег

Майн гот! Опять ссоры, каждый день... И за что мне такая каторга?

Берег

За окном весна. Распустились почки, а у меня на душе такая муть. Пишу в поезде, так до конца отпуска и не дотерпела. Разразилась буря (как всегда из-за пустяка, я, видите ли, пошла без его разрешения к тетке). Он кричал, что его не устраивают мои гены, что я какой была, такой и осталась. А я пошло молчала. А что говорить, если ничего нет: ни кругов, ни квадратов, ни колес на небе. Одна пустота. То есть жизнь, конечно, идет, стучат вагоны, в соседнем купе морячки режутся в подкидного, а мой сосед по купе даже предлагает мне крутое яичко с огурцом. Но внутри меня, как в пустой бочке, — катится поезд по рельсам, стучит, а мне кажется, что это я гремлю, как пустая бочка.

— Девушка, ну съешьте яичко, ну, пожалуйста, диетическое, по рубль тридцать. Соседу лет двадцать восемь, он тоже моряк, блондин, в принципе, мой вкус. В доброе старое время могло быть совсем неплохое "при-ключе", а сейчас все это напрасные хлопоты. Если нет у меня ключа от приличной жизни, то и не будет. С одной стороны, это так, конечно, а с другой? Может, он был у меня этот чертов ключик, может, я его просто посеяла.

Берег

Шла на свидание к ангелу, а оказалась в лапах у черта, да хоть бы у черта! А то и вспомнить нечего. Впрочем, попробую. По порядочку. ...С чего началось? С того, что пили. Час было или два ночи. В иллюминаторе темень. Давно пора откланяться. Но идти некуда. Сижу, как приклеенная к креслу. Сатана сидит напротив и тоже в кресле.

— Алекс, ты на кого похож, на папу или на маму?

Он усмехается, не понимает, к чему это я. Но я-то знаю, к чему. Сидящий в кресле Алекс похож не на черта и даже не на хорька (как в тот раз), а на херувимчика, — маленькое личико, маленькие ушки, маленький носик. И большие только очки. Большие и квадратные. Херувимчик в очках. Глаза у Алекса тоже маленькие и подслеповатые, но в очках они большие и серьезные.

— Значит, ты сатана, он — ангел, а я кто? — спрашиваю я.

Алекс не слышит вопроса, он улыбается.

— Ангел глуп! — наконец говорит он, и поэтому проиграл.

В этом Алекс, пожалуй, прав. И начинать надо не с сатаны, а с ангела, то бишь с Гудкова, и не с часу ночи, а чуть пораньше. Так вот не успела я войти к нему, как он придвинул мою сумочку и с такой энергией стал рыться, будто искал клад. Но открыл не клад, а какую-то открытку, от Альберто, кажется.

— Все! — сказал он. И я машинально повторила: "Все".

Все было кончено, и ничего не хотелось. Взяла чемоданчик. Вышла. Но не успела прикрыть дверь, как открылась другая, напротив:

— Кам хиа, Марта!

Я хотела сказать: "Гуд бай!", но не сказала, мне было все равно, куда идти, и я пошла к Алексу.

У него было отличное настроение. Он достал из шкафа коньяк, яблоки. Он был в халате, но халат был ему страшно велик — из широких рукавов торчали тоненькие руки. Мы выпили за встречу, и Алекс мне налил еще.

— Между прочим, ты не заметила, девочка, что в жизни всегда действовали два начала: черти и ангелы. И ангелы всегда били чертей, хотя черти умнее ангелов. Черти — это закваска, это перец жизни, благодаря им все вокруг так и колобродит. Без них жизнь была бы, как манная каша. (Отлично поешь, Алекс!). — Но на этот раз дудки, сатана накаутировал ангела. Р-раз и нету! И я рад, что ты у меня. В этом есть что-то оттуда! — Алекс вскинул вверх палец и плюхнулся в кресло.

— Значит, сатана? — спросила я. Так просто спросила, спьяну...

— Да, сатана! — ответил он и не спеша придвинулся ко мне вместе с креслом. — Но, между прочим, с поправкой на век. Сатана XX века! В прошлом чертей волновала лишь душа грешниц, ради них они извивались, готовы были гореть на кострах и класть голову на плаху. Что бы я делал с твоей душой? По-моему, вообще это очень скучная вещь — душа, женщина без материальной оболочки.

— Ну, это уж, конечно! — не выдержала я, — кому это добро нужно.

Алекс не слышал.

— Лично меня, как современного сатану, волнуют твои ноги, твои волосы, твоя мини-юбка и даже твои ключицы — в общем, вся твоя заблудшая личность...

— Все ты врешь, Алекс, но может, оно, конечно, и надо женщине привирать.

Я сняла с плеча его руку и подошла к зеркалу. Я не узнала себя — такая уродина стала; лицо зеленое, тушь на глазах развезло. Я взяла со стола ключ, чтоб открыть дверь. Алекс испуганно заморгал глазками. И это сатана? Херувимчик! Алекс поправил очки — глаза стали большими и серьезными.

— А знаешь, чем еще отличается сатана XX века от своих пращуров?

— Надоело, дружок, смени пластинку!

— Пращуры корчились на небеси, а этот живет в цивилизованном обществе. У него есть папа — доктор технических наук, мама — жена доктора наук, сам он учится в заочной аспирантуре и собирается купить новую "Волгу".

— Привет, Алекс, я пошла.

— Но это не главное, нет! — Алекс стоял совсем близко, и я ухом чувствовала его дыхание, — главное, он не знает, зачем это ему все — папа, мама, "Волга", аспирантура. Между прочим, перед тобой ужасно одинокий сатана, — он улыбается, хохмит, строит из себя сверхчеловека... но часто, особенно ночью, ему хочется выскочить, в чем мама родила, на палубу и завыть, как шакал. В маленьких глазах Алекса стояли слезы... Он снял очки и стал сильно тереть их платком. И от света еще чаще заморгал глазками.

— Я, понимаешь ли, этого дня, может, два года ждал.

— Ты или сатана? — неизвестно зачем спросила я.

Он так сильно тер стекла, что я не выдержала и вытащила очки из его рук... И надела ему их на глаза.

— Ну, ладно, будь по-твоему, дружок...

Майн гот! — Как он спешил! Чуть не запутался в собственном халате. А после победно засопел и снова начал что-то про сатану и про ангела. Я встала, оделась и взяла со стола ключ. Он преградил мне путь. Я сказала:

— Пусти, Алекс... подурачились и хватит.

— Но куда пустить, ночь же, — бормочет он, — смотри сама, без четверти три, нет, уже без десяти.

— К Мирке...

— К Мирке нельзя, нет! — заорал он, — у нее кто-то есть.

Я отодвинула его от двери и вставила ключ в замок. "Была подруга при ключе, а вот уже и без ключа..."

Не знаю, сколько плелась до Дома межрейсового отдыха. Долго стучала. Пока дверь не отворила какая-то здоровенная баба в одной рубахе.

— Шляются до утра, шкодничают! — долго орала она. — И, наконец, молча всучила мне ключ от какой-то комнатенки.

— Чемодан где?

— Нет чемодана!

— Сумка где?

— Нет сумки.

— Паспорт?

— Нет паспорта...

— А что у тебя есть?

— Ничего у меня нету...

Море

Лежу на вертолетной площадке и сквозь солнечные очки глазею на небо Джорджес. В воздухе 46 градусов. От жары наш "Маточкин шар" слегка рехнулся. Кругом крики и суета. Кто-то прямо в ухо рычит мне:

— Малютка, так можно и обгореть! — Но я — ноль внимания. Мне даже лень повернуться. Я смотрю в небо, но ничего не вижу — раньше бывали круги, колеса. Муть все это. Ничего и раньше не было. Обман зрения.

— Малютка, что делаем вечером? — Опять этот идиот! Майн гот, скорей бы берег. Может, Майкла встречу, в "Арктику" закатимся и устроим "при-ключе".

— Малютка...

— Да чего ты пристал к ней, че в ней есть-то?

Во, правильно, юноша, хоть один умный нашелся...

Сергей ДОВЛАТОВ

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

(Из сборника "Компромисс")

Четыре года спустя на лице журналистки Агаповой появится глубокий шрам от удара металлической рейсшиной. На нее с безумным воплем кинется архитектор-самоучка Дегтяренко, герой публицистической радиопередачи "Ясность", так и не запущенной в эфир. За шесть недель до этой безобразной сцены журналистке впервые расскажут о проекте "Мобиле кооперато" и его гениальном творце, чернорабочем одной из ленинградских фабрик. Агапова напишет очерк под рубрикой "Встреча с интересным человеком". Технический отдел затребует чертежи. Эксперт Чубаров минуту подержит в холеных руках две грязные трепещущие кальки и выскажется следующим образом:

— Оригинально! Весьма оригинально!

Журналистка с облегчением и гордостью воскликнет:

— У него четыре класса образования!

— А у вас? — брезгливо поинтересуется эксперт, — вы знаете, что это такое?

— Мобиле кооперато. Подвижный дом. Жилище будущего...

— Это вагон, — прервет ее Чубаров, — обыкновенный вагон. А вашего ле Корбюзье нужно срочно госпитализировать...

Передачу тут же забракуют. Обнадеженный было Дегтяренко ударит Лиду металлической рейсшиной по голове. Карьера внештатной сотрудницы ленинградского радио надолго прервется... Все это произойдет четыре года спустя. А пока мы следуем за ней к троллейбусной остановке.

До этого было пасмурное утро, еще раньше — ночь. Сонный голубь бродил по карнизу, царапая жесть. Затем — будильник, остывшие шлепанцы, толчея возле уборной, чай, покоробившийся влажный сыр, гудение электробритвы — муж спешит на работу. Дочь: "Я, кажется, просила не трогать мой халат!"... И наконец — прохлада равнодушных улиц, ветер, цинковые лужи, болонки в сквере, громыхание трамвая...

Попробую ее изобразить. Хотя внешность Агаповой существенного значения не имеет.

Резиновые импортные боты. Тяжелая коричневая юбка не подчеркивает шага. Синтетическая курточка на молнии — шуршит. Кепка с голубым верхом — форменная — таллинского политехника. Лицо решительное, вечно озябшее. Никаких следов косметики. Отсутствующий зуб на краю улыбки. Удивляются только глаза, брови неподвижны, как ленточка финиша...

Следуем за нашей героиней. Троллейбусная остановка. Фонтаны грязной воды из-под колес. Пятнадцатый, одиннадцатый, тройка... Снова одиннадцатый...

"...Вон как хорошо девчонки молодые одеваются. Пальтишко бросовое, а не наше. Вместо пуговиц какие-то еловые шишки... А ведь смотрится... Или эта, в спецодежде... Васильки на заднице... Походка гордая, как у Лолобриджиды... А летом как-то раз босую видела... Не пьяную, сознательно босую... В центре города... Идет, фигурирует... Так и у меня, казалось бы, все импортное, народной демократии. А вида нету... И где они берут? С иностранцами гуляют? Позор!.. А смотрится..."

С натугой разъехались двери троллейбуса. Короткий мучительный штурм. Дорогу ей загородила широкая армейская спина. Щекой — по ворсистой удушливой ткани... Ухватилась за поручень. Мелькнула жизнь в никелированной трубе...

— Копеечку не опускайте...

Лида балансирует над металлическим ящиком-кассой.

— Да проходите же, стоит, как неродная...

Главное, не раздражаться, относиться с юмором. Час пик, обычное явление. Тут главное найти источник положительных эмоций. Вон бабке место уступили. Студент конспекты перелистывает. Даже у военного приличное лицо...

И снова — улица, машины, люди, приятная волнующая безучастность людей и машин. Затем — вестибюль, широкая мраморная лестница, ковровые дорожки, потертые на сгибах... Табличка — "Отдел пропаганды".

Лида постучала и вошла. Все ужасно ей обрадовались. Кулешов сказал очередную пошлость. Верочка Котова улыбнулась, не поднимая глаз. Женя Тюрин помог раздеться. Моралевичс просил:

— Ты слушала в четверг? Александр Петрович тобой доволен.

— Правда?!..

Тут же курил и Валя Чмутов, хронический неудачник. Чмутов был актером. Имел природный дар — красивый низкий голос удивительного тембра. Работал диктором. Шесть месяцев назад с ним произошла трагическая история. Чмутов должен было рано утром открыть передачу, которая шла непосредственно в эфир. Произнести всего несколько слов: "Дорогие радиослушатели! В эфире еженедельная программа — "Здравствуй, товарищ!". И все. Дальше — музыка и запись. Чмутов получает свои одиннадцать рублей.

Чмутов зашел в рубку. Сел. Придвинул микрофон. Мысленно повторил текст. Подвернул манжеты, чтобы запонки не брякали по столу. Ждал, когда загорится лампочка — "Эфир". На душе после вчерашнего было тоскливо. Лампочка не загоралась.

— Дорогие радиослушатели! — задумчиво произнес Чмутов.

Тяжело ворочался обожженный портвейном язык. Лампочка не загоралась.

— Дорогие радиослушатели, — снова повторил Чмутов, — о, мерзость... Дорогие радиослушатели... Да, напрасно я вчера завелся...

Лампочка не загоралась. Как выяснилось, она перегорела... Это бывает раз в сто лет...

— В эфире еженедельная программа, — репетировал Чмутов, — ну, бля, все, завязываю...

За стеклом мелькнула перекошенная физиономия редактора. Чмутов обмер. Распахнулась дверь. Упирающегося диктора выбросили на лестницу. Его похмельные заклинания разнеслись на весь мир. Актер был уволен... История не кончается.

Чмутов уехал во Псков. Поступил диктором на радио. Местная радиотрансляция велась ежедневно часа полтора. Остальное время занимали Москва и Ленинград. Чмутов блаженствовал. Его ценили как столичного мастера.

Как-то раз он вел передачу. Неожиданно скрипнула дверь. Вошла большая коричневая собака. (Чья? Откуда?) Чмутов ее осторожно погладил. Собака прижала уши и зажмурилась. Нос ее сиял крошечной боксерской перчаткой.

— Труженики села рапортуют, — произнес Чмутов.

И тут собака неожиданно залаяла. Может быть, от счастья. Лаской ее, видимо, не избаловали.

— Труженики села рапортуют... Гав! Гав! Гав!

Чмутова снова уволили. Теперь уже навсегда и отовсюду. Когда он рассказал о собаке, ему не поверили. Решили, что он сам залаял с похмелья.

Чмутов уехал в Ленинград. Целыми днями сидел на радио. Ждал своего часа...

Неудачников все избегают, Лида ему улыбнулась.

В отделе пропаганды Агапова сотрудничала давно. Все ее любили. Вот и теперь заведующая Нина Игнатьевна ласково ей кивнула.

— Лидочка, пройдите ко мне.

В кабинете тишина, полированый стол, бесчисленные авторучки. В шкафах за стеклами мерцают сувениры и корешки энциклопедии. В столе у Нины Игнатьевны — помада, зеркальце и тушь. И вообще приятно — интересная молодая женщина в таком серьезном кабинете...

— Лидочка, я хочу вам новую рубрику предложить. "Встреча с интересным человеком". Причем, не обязательно с ученым или космонавтом. Диапазон тут исключительно широкий. Почетное хобби, неожиданное увлечение, какой-нибудь штрих в биографии. Допустим, скромный номенклатурный главбух тайно... я не знаю... все, что угодно... не приходит в голову... Допустим, он тайно...

— Растлевает малолетних, — подсказала Лида.

— Я другое имела в виду. Допустим, он тайно...

— Изучает санскрит...

— Что-то в этом духе. Только более значимое в социальном отношении. Допустим, милиционер помогает кому-то отыскать близкого человека...

— Есть кино на эту тему.

— Я не могу предложить вам что-то конкретное. Тут надо подумать. Вот, к примеру. На одном из ленинградских заводов создавалась "Трилогия о Максиме". Помните, с Борисом Чирковым? Так вот, мальчишка, который участвовал в съемках, превратился в начальника одного из цехов.

— Мне нравится эта тема, — сказала Лида, — я ее чувствую.

— Эту тему уже использовал Лазарь Маграчев. Я говорю — в принципе. Надо придумать что-то свое. Допустим, старый генерал ложится на операцию. И узнает в хирурге своего бывшего денщика...

— Как фамилия? — спросила Лида.

—Чья?

— Как фамилия этого генерала? Или денщика?

— Я говорю условно... Тут главное — неожиданность, загадка, случай... Многоплановая жизнь... Снаружи одно, внутри другое...

— Это у многих так, — вздохнула Лида.

— Короче — действуйте, — сказала Нина Игнатьевна, едва заметно раздражаясь.

Лидочка вышла из кабинета.

Интересные люди окружали ее с детства. Отец был знаком с Эренбургом. Учитель рисования в школе слыл непризнанным гением. Потом за ней ухаживал бандит и даже написал стихи. Институтские профессора удивляли своими чудачествами. У одного была вечно расстегнута ширинка. Интересным человеком был ее муж: старший экономист, а пишет с ошибками. Дочь казалась загадочной — всегда молчит. А последнее время до такой степени, что Лида решила, не беременна ли... Монтера из домоуправления вызвали, оказывается — сидел чуть ли не за убийство. Короче, все люди интересные, если разобраться...

По образованию Лидочка было врачом-гигиенистом. Начала перебирать бывших однокурсников. Павинский, Рожин, Янкелевич, Феофанов... Мищенко, кажется, спортом занимался. Левин в науку ушел... Левин, Борька Левин, профессор, умница, доктор наук... Говорят, был во Франции...

Агапова достала блокнот и записала на чистой странице — Левин.

Стала перебирать знакомых мужа. Тоже, конечно, интересные люди. Экономисты. Калинин, например, утверждает, что безработица — стимул прогресса. А то все знают, что их не уволят. А если и уволят, то не беда. Перейдет через дорогу и устроится на соседний завод. То есть, можно прогуливать, злоупотреблять... Калинин вряд ли подойдет. Уж слишком прогрессивный... А Меркин тот вообще. Его спрашивают, что может резко поднять нашу экономику? Отвечает — война. Война и только война. Война — это дисциплина, подъем сознательности. Война любые недостатки спишет... Думаю, что и Меркин не подойдет... А вот приходил на днях один филолог со знакомой журналисткой... Или даже кажется переводчик. Служил, говорит, надзирателем в конвойных частях... Жуткие истории рассказывал... Фамилия нерусская — Алиханов. Бесспорно, интересный человек...

Так рядом с Левиным в блокноте появился Алиханов.

Еще бы третьего кандидата найти. И тут Лида вспомнила, что у соседей остановился родственник из Порхова. Или знакомый. Что-то Милка Осинская во дворе говорила. Какая-то

у него судьба загадочная. То ли был репрессирован, то ли наоборот... Начальник из провинции — это любопытно. Это можно как-нибудь оригинально повернуть. "Нет географической провинции, есть провинция духовная..."

Так рядом с Алихановым и Левиным появился вопросительный знак. И в скобках: (Родственник Милки О.)...

Можно еще в резерве оставить начитанного домоуправа. Сименоном интересовался. Но у Лиды с ним конфликт из-за вечно переполненных мусорных баков... Ладно... Надо браться за дело!..

— До свидания, Верочка, мальчики!

— Агапова, не пропадай!..

Позвонила Борьке Левину в клинику. Узнал, обрадовался, договорились на час.

Бывший надзиратель оказался дома.

— Приезжайте, — сказал он, — и если можно, купите три бутылки пива. Деньги сразу же верну.

Лида зашла в гастроном на улице Ракова, купила пиво. Затем она ехала в метро, троллейбусом четыре остановки. Дома в районе новостроек: от подъезда до подъезда — километр...

Алиханов встретил ее на пороге. Это был огромный молодой человек с низким лбом и вялым подбородком. В глазах его мерцало что-то фальшиво неаполитанское. Затеял какой-то несуразный безграмотный возглас и окончить его не сумел:

— Чему я обязан, Лидочка, тем попутным ветром, коего... коего... Достали пиво? Умница. Раздевайтесь. У меня чудовищный беспорядок.

Комната производила страшное впечатление. Диван, заваленный бумагами и пеплом. Стол, невидимый под грудой книг. Черный остов довоенной пишущей машинки. Какой-то ржавый ятаган на стене. Немытая посуда и багровый осадок в фужерах. Тусклые лезвия селедок на клочке газетной бумаги...

— Идите сюда. Тут более-менее чисто.

Надзиратель откупорил пиво.

— Да, колоритно у вас, — сказала Лида, — я ведь по образованию гигиенист.

— Меня за антисанитарию к товарищескому суду привлекали.

— Чем же это кончилось?

— Ничем. Я на мятежный дух закашивал. Поэт, мол, йог, буддист, живу в дерьме... Хотите пива?

— Я не пью.

— Вот деньги. Рубль одиннадцать.

— Какая ерунда, — сказала Лида.

— Нет, извините, — громко возмутился Алиханов.

Лида сунула горсть мелочи в карман. Надзиратель ловко выпил бутылку пива из горлышка.

— Полегче стало, — доверительно высказался он. Затем попытался еще раз, теперь уже штурмом осилить громоздкую фразу:

— Чем я обязан, можно сказать, тому неожиданному удовольствию, коего…

— Вы филолог? — спросила Агапова.

— Точнее — лингвист. Я занимаюсь проблемой фонематичности русского "Щ"…

— Есть такая проблема?

— Одна из наиболее животрепещущих… Слушайте, что произошло? Чем я обязан неожиданному удовольствию лицезреть?..

Надзиратель опрокинул вторую бутылку.

— Мы готовим радиопередачу "Встреча с интересным человеком". Необходим герой с оригинальной биографией. Вы филолог. Точнее — лингвист. Бывший надзиратель. Человек многоплановой жизни… У вас многоплановая жизнь?

— Последнее время — да, — честно ответил надзиратель.

— Расскажите подробнее о ваших филологических исследованиях. Желательно, в доступной форме.

— Я вам лучше дам свой реферат. Что-то я плохо соображаю. Где-то здесь. Сейчас найду...

Алиханов метнулся к напластованиям бумаги.

— В другой раз, — успокоила Лида, — мы, очевидно, еще встретимся. Это у нас предварительная беседа. Мне хочется спросить. Вы были надзирателем, это опасно, рискованно?

Алиханов неохотно задумался.

— Риск, конечно, был. Много водки пили. Лосьоном не брезговали. На сердце отражается...

— Я имела в виду заключенных. Ведь это страшные люди. Ничего святого…

— Люди, как люди, — сказал Алиханов, откупоривая третью бутылку.

— Я много читала. Это особый мир… Свои законы… Необходимо мужество… Вы мужественный человек?

Алиханов вконец растерялся.

— Люба, — сказал он.

— Лида.

— Лида! — почти закричал Алиханов, — я сейчас достану шесть рублей. У меня гуманные соседи. Возьмем полбанки и сухого. Что-то я плохо соображаю.

— Я не пью. Вы мужественный человек?

— Не знаю. Раньше мог два литра выпить. А теперь от семисот граммов балдею... Возраст...

— Вы не понимаете. Мне нужен оригинальный человек, интересная личность. Вы филолог, тонко чувствующий индивидуум. А раньше были надзирателем. Ежедневно шли на риск. Душевная тонкость очень часто сопутствует физической грубости…

— Когда я вам грубил?

— Не мне. Вы охраняли заключенных...

— Мы больше себя охраняли.

— Откуда у вас этот шрам? Не скромничайте, пожалуйста...

— Это не шрам, — воскликнул Алиханов, — это фурункул. Я расчесал... Извините меня...

— Я все-таки хочу знать, что вы испытывали на Севере? Фигурально выражаясь, о чем молчала тундра?

—Что?

— О чем молчала тундра?

— Лида! — дико крикнул Алиханов, — я больше не могу! Я не гожусь для радиопередачи! Я вчера напился! У меня долги и алименты! Меня упоминала "Немецкая волна"! Я некото-

рым образом — диссидент! Вас уволят... Отпустите меня...

Лида завинтила колпачок авторучки.

— Жаль, — сказала она, — материал интересный. Будьте здоровы. Я вам позвоню. А вы пока отыщите свой реферат...

Надзиратель стоял обессиленный и бледный.

— Минутку, — сказал он, — я тоже иду. У меня гуманные соседи...

На площадке они расстались. Лида зашагала вниз. Алиханов взлетел на четвертый этаж...

Левин обнял ее и долго разглядывал.

— Да, — сказал он, — годы идут, годы идут...

— Постарела?

— Как тебе сказать... Оформилась.

— А ты обрюзг. Позор. Галина дома?

— На собрании в школе. Хулиган у нас растет... Толстею, говоришь? Жена советует: "Тебе надо бегать по утрам". А я отвечаю: "Если побегу, то уже не вернусь..." Кофе хочешь? Раздевайся...

— Только после вас, доктор, — вспомнила Лида какую-то старую шутку.

Они прошли в гостиную. Торшер с прожженным абажуром. Иностранные журналы на подоконнике...

— Хорошо у тебя, — сказала Лида, — в новых квартирах жутко делается. Все полированное, сплошной хрусталь...

— Хрусталь и у меня есть, — похвастал Левин.

—Где?

— В ломбарде.

— По-прежнему канцерогенами занимаешься?

— По-прежнему.

— Расскажи.

— Минуточку, чайник поставлю.

— Жду...

Лида вынула записную книжку, авторучку и сигареты "БТ".

Левин вернулся. Они закурили.

— Ты во Франции был?

— Две недели.

— Ну и как?

— Нормально.

— А конкретнее?

— Трудолюбивый народ, реакционная буржуазия, экономический кризис, обнищание масс...

— Ты по-человечески расскажи. Хорошо французы к нам относятся?

— А черт их знает. Настроение у всех хорошее.

— Как насчет благосостояния? Как тебе француженки понравились?

— Благосостояние нормальное. Кормили хорошо. У меня был третий стол. Вино, цыплята, кофе, сливки... Девицы замечательные. Вернее так, либо уродина, либо красотка. Тут дело в косметике, я полагаю. Косметика достоинства подчеркивает, а недостатки утрирует... Держатся свободно, непосредственно. У них такие белые синтетические халаты, декольте...

— Что значит — белые халаты? Ты в клинике работал?

— Я не работал. Я дизентерией в Ницце заболел. День погулял и слег.

— Значит, Франции практически не видел?

— Почему? У нас был цветной телевизор.

— Не повезло тебе.

— Зато я отдохнул.

— Привез что-нибудь интересное? Сувениры, тряпки?

— Слушай, — оживился Левин, — я уникальную вещь привез. Только отнесись без ханжества. Ты же врач. Сейчас достану. Я его от Вовки прячу.

— Что ты имеешь в виду?

— Лидка, я член привез. Каучуковый член филигранной работы. Ей-Богу. Куда же он девался? Видно, Галка перепрятала...

— Зачем это тебе?

— Как зачем? Это произведение искусства. Клянусь. И Галке нравится.

— Как таможенники не отобрали?

— Я же не в руках его тащил, я спрятал.

— Куда? Ведь не иголка…

— Я одну даму попросил из нашей лаборатории. Женщин менее тщательно обыскивают. И возможностей у них больше. Физиология более... укромная…

— Ты, как ребенок. Поговорим лучше о деле.

— Сейчас я кофе принесу.

На столе появились конфеты, вафли и лимон.

— Сгущенное молоко принести?

— Нет. Рассказывай.

— Чего рассказывать? Я занимаюсь моделированием химических реакций. Одно время исследовал канцерогенез асбестовой пыли...

— Ты мне скажи, рак излечим?

— Рак кожи — да.

— А рак желудка, например?

— Лидочка, полный хаос в этом деле. Миллиграмм канцерогена убивает лошадь. У любого взрослого человека на пальце этих самых канцерогенов — табун отравить можно. А я вот курю и тем не менее — жив… Дым, в свою очередь, тоже… Не записывай. Рак — щекотливая тема. Запретят твою передачу.

— Не думаю.

— Что, я с журналистами дела не имел?! Обратись к терапевту, у них благодать. Соцобязательства каждый месяц берут… Ты позвони в свою контору, согласуй.

Агапова позвонила Нине Игнатьевне. Та перепугалась.

— Лидочка, рак — слишком печально. Порождает отрицательные эмоции. Ассоциируется с небезызвестным романом. Мы ждем чего-нибудь светлого…

— Рак — это проблема номер один.

— Лидочка, не упрямьтесь. Есть негласное распоряжение.

— Что ж, — вздохнула Лида, — извините...

— Куда ты? — удивился Левин, — посиди.

— Я в общем-то по делу зашла.

— Мы семь лет не виделись. Скоро Галка придет, выпьем чего-нибудь...

— Ты уж прости, не хотелось бы мне ее видеть.

Левин молчал.

— Ты счастлив, Боря?

Левин снял очки. Теперь он был похож на второгодника.

— Какое там счастье! Живу, работаю. Галка, я согласен, трудный человек. Есть в ней что-то безжизненное. Володя — хам, начитанный, развитый хам. Я все-таки доктор наук, профессор. А он говорит мне вчера: "У тебя комплекс неполноценности..."

— Но ведь ты ученый, служишь людям. Ты должен гордиться...

— Брось, Лида. Я служу Галине и этому засранцу.

— Ты просто не в форме.

Лида уже стояла на площадке.

— А помнишь, как в Новгород ездили? — спросил Левин.

— Боря, замолчи сейчас же. Все к лучшему. Ну, я пошла.

И она пошла вниз, на ходу раскрывая зонтик. Щелчок — и над головой ее утвердился пестрый, чуть вибрирующий купол.

— А как мы дыни воровали?! — закричал он в лестничный пролет...

К этому времени стемнело. В лужах плавали акварельные неоновые огни. Бледные лица прохожих казались отрешенными. Из-за поворота, качнувшись, выехал наполненный светом трамвай. Лида опустилась на деревянную скамью. Сложила зонтик. В черном стекле напротив отражалось ее усталое лицо. Кому-то протянула деньги, ей сунули билет. Всю дорогу она спала и проснулась с головной болью. К дому шла медленно, ступая в лужи. Хорошо, догадалась надеть резиновые чешские боты…

Осинские жили в соседнем подъезде. Аркадий — тренер, вечно шутит. На груди у него, под замшевой курткой, блестит секундомер. Милка где-то химию преподает.

Сын — таинственная личность. Шесть лет уклоняется от воинской повинности. Шесть лет симулирует попеременно — неврозы, язву желудка и хронический артрит. Превзошел леген-

дарного революционера Камо. За эти годы действительно стал нервным, испортил желудок и приобрел хронический артрит. Что касается медицинских знаний, то Игорь давно оставил позади любого участкового врача. Кроме того, разбирался в джазе и свободно говорил по-английски...

В общем, человек довольно интересный, только не работает...

Лида поднялась на третий этаж. Ей вдруг неудержимо захотелось домой. Прогоняя эту мысль, нажала кнопку. Глухо залаял Милорд.

— Входи, — обрадовалась Мила Осинская, — Игорь где-то шляется. Арик на сборах в Мацесте. Познакомься, это Владимир Иванович.

Навстречу ей поднялся грузный человек лет шестидесяти. Протянул руку, назвался. С достоинством разлил коньяк. Мила включила телевизор:

— Хочешь борща?

— Нет. Я, как ни странно, выпью.

— За все хорошее, — дружелюбно произнес Владимир Иванович.

Это был широкоплечий здоровый мужчина в красивом тонком джемпере. Лицо умеренно, но регулярно выпивающего человека. В кино таким изображают отставных полковников. Прочный лоб, обыденные светлые глаза, золотые коронки.

Чокнулись, выпили.

— Ну, беседуйте, — сказала хозяйка, — а я к Воробьевым зайду на десять минут. Мне Рита кофту вяжет...

И ушла.

— Я в общем-то по делу, — сказала Лида.

— К вашим услугам.

— Мы готовим радиопередачу "Встреча с интересным человеком". Людмила Сергеевна кое-что о вас рассказывала... И я подумала... Мне кажется, вы интересный человек...

— Человек я самый обыкновенный, — произнес Владимир Иванович, — хотя не скрою, работу люблю, и в коллективе меня уважают...

— Где вы работаете? — Лида достала блокнот.

— В Порхове имеется филиал "Красной зари". Создаем координатные АТС. Цех большой, ведущий. По итогам второго квартала добились серьезных успехов...

— Вам не скучно?

— Не понял.

— Не скучно в провинции?

— Город наш растет, благоустраивается. Новый дом культуры, стадион, жилые массивы... Записали?

Владимир Иванович наклонил бутылку. Лида отрицательно покачала головой. Он выпил. Подцепил ускользающий маринованный гриб.

Лида, выждав, продолжала:

— Я думаю, можно быть провинциалом в столице и столичным жителем в тундре.

— Совершенно верно.

— То есть, провинция — явление духовное, а не географическое.

— Вот именно. Причем, снабжение у нас хорошее: мясо, рыба, овощи...

— Гастролируют столичные творческие коллективы?

— Разумеется, вплоть до Магомаева.

Владимир Иванович снова налил.

— Вы, наверное, много читаете? — спросила Лида.

— Как же без этого. Симонова уважаю. Ананьева, военные мемуары, естественно — классику: Пушкина, Лермонтова, Толстого... Последних, как известно, было три... В молодости стихи писал...

— Это интересно.

— Дай Бог памяти. Вот, например...

Владимир Иванович откинулся на спинку кресла:

Каждый стремится у нас быть героем,
Дружно шагаем в строю,
Именем Сталина землю покроем,
Счастье добудем в бою...

Лида подавила разочарование.

— Трудно быть начальником цеха?

— Прямо скажу — нелегко. Тут и производственный фактор, и моральный... План, текучесть, микроклимат, отрицаловка... А главное, требовательный народ пошел. Права свои знает. Дай то, дай это... Обязанностей никаких, а прав до черта... Эх, батьки Сталина нет... Порядок был, порядок... Опоздал на минуту — под суд! А сейчас... Разболтался народ, разболтался... Сатирики, понимаешь, кругом... Эх, нету батьки...

— Значит, вы одобряете культ личности? — тихо спросила Агапова.

— Культ, культ... Культ есть и будет... Личность нужна, понимаете, личность!

Владимир Иванович разгорячился, опьянел. Теперь он жестикулировал, наваливался и размахивал вилкой.

— Жизнь я нелегкую прожил. Всякое бывало. Низко падал, высоко залетал... Я ведь, между нами, был женат...

— Почему — между нами? — удивилась Лида.

— На племяннице Якира, — шепотом добавил Владимир Иванович.

— Якира? Того самого?

— Ну. Ребенок был у нас. Мальчишка...

— И где они сейчас?

— Не знаю. Потерял из виду. В тридцать девятом году...

Владимир Иванович замолчал, ушел в себя.

Долго Лида ждала, потом, волнуясь, краснея, спросила:

— То есть, как это — потерял из виду? Как можно потерять из виду свою жену? Как можно потерять из виду собственного ребенка?

— Время было суровое, Лидочка, грозовое суровое время. Семьи рушились, вековые устои рушились...

— При чем тут вековые устои?! — неожиданно крикнула Лида, — я не маленькая. И все знаю. Якира арестовали, и вы подло бросили жену с ребенком. Вы... Вы... Вы — неинтересный человек!

— Я попросил бы, — сказал Владимир Иванович, — я попросил бы... Такими словами не бросаются...

И затем, уже более миролюбиво:

— Ведите себя поскромнее, Лидочка, поскромнее, поскромнее...

Милорд приподнял голову.

Лида уже не слушала. Вскочила, сорвала курточку в прихожей и хлопнула дверью.

На лестнице было тихо и холодно. Тенью пронеслась невидимая кошка. Запах жареной рыбы наводил тоску.

Лида спустилась вниз и пошла через двор. Влажные сумерки прятались за гаражами и около мусорных баков. Темнели и поскрипывали ветки убогого сквера. На снегу валялся деревянный конь.

Лида заглянула в почтовый ящик, достала "Экономическую газету". Поднялась и отворила дверь. В комнате мужа гудел телевизор. На вешалке алело Танино демисезонное пальто. Лида разделась, кинула перчатки на зеркальный столик.

В уборную, едва поздоровавшись, скользнул молодой человек. Грязноватые локоны его были перевязаны коричневым сапожным шнурком. Плюшевые брюки ниспадали, как шлейф.

— Татьяна, кто это? — спросила Лида.

— Допустим, Женя. Мы занимаемся.

— Чем?

— Допустим, немецким языком. Ты что-нибудь имеешь против?

— Проследи, чтобы он вымыл руки, — сказала Лида.

— Как ты любишь все опошлить! — ненавидящим шепотом выговорила дочь.

Лида приоткрыла дверь в комнату мужа, залитую голубоватым светом. Вадим лежал на диване в ботинках.

— Могу я наконец поужинать? — спросил он.

Заглянула дочь:

— Мы уходим.

У Тани было хмурое лицо, на котором застыла гримаса вечного противоборства.

— Возвращайся поскорее...

— Могу я,наконец, чаю выпить? — спросил Вадим.

— Я, между прочим, тоже работаю, — ответила Лида.
И потом, не давая разрастаться ссоре:
— Как ты думаешь, Меркин — интересный человек?

Анри ВОЛОХОНСКИЙ

ОДНО ОКО

Туда идя своей чредой
Где город — знал — вдали воздвигнут
Я как нежданною бедой
Внезапно небом был застигнут

Бледнея, утра мрак в нем гас
Был блеск повсюду одинаков
И только сверху дикий глаз
Взирал с него без прочих знаков

Тут одаль все свернулось в вой
Став ветра пепельною плотью
Лишь на дороге предо мной
Виднелось пугало в лохмотьях

Качалась череп-голова
Седое тело тлело сухо
И вихрь выветривал слова
Из трупа Хлебникова духа.

От первого вздоха:
Куда убегает вода исчезающей зелени?
Если бы око мне
О ко мне
Ком неги нежданной
Тебе дней на дне
Дано мало
А надо много
О сом реки
Реки
Рея с мели с милой над ней
Как камней на дне
Надо много
А надо мной мне осталось
Небо льна
Не больно-то верится:
Желтого мера
Золото мира
— Солоно мира хлебать тебе
Солнца мало
И мимо литься луны
Молиться унылой.

Дуновение новое
Веер вех на хлебных копнах
Ветер дерева тетерев
Гребень багрян
Яркий багор-косарь
Ветви ответь —
То ли око цветок
Слитый с ликом истока-ростка
Проистеканием листвы

Вервие веры вверх
Тянучи до ночи тоньше?
— Смотрите, это солома.

И третье:
Где тела?
Те ли они
Мы не знаем
Плесть ли, плескать ли
Или петь сеть?
Или суть-путь еще ища
Куда убегает вода исчезающей зелени
И так утекающей лебеди?
— А пока мы идем высыхают колодцы…

С косноязыких челюстей
Через мычанье хрип и скрежет
Стучал мне звук пустых костей
От ветра в трепетной одежде

Я стал судить, но верой скуп
Про что он мне проговорился
Как вдруг исчез шершавый труп
И дух вещавший испарился

И стройный град вдали пропал
И бледный вихрь вымер прерван
А горный воздуха кристалл
Застыл как будто в полдень первый

И вспомнив тот что в высях был
Я вверх свой глаз подъял невольный
Где в гул и в гибель всех светил
Сжигал их ужас треугольный.

Е.Ф. САБУРОВ

БЕСПАМЯТНЫЕ НАШИ ДУШИ

Поэт не может поумнеть,
поэт способен только
вымаливать, учуяв смерть,
одежду и застолье.

у Бога или у властей,
у предков, у потомков,
у собственных своих страстей
вымаливать — и только.

Равно у тех, кто навзничь лег,
у тех, кто стал за правду,
нежирный попросить кусок,
в душе боясь: отравят.

Так сунь поэту на обед
и что-нибудь из платья,
а то, что жил он как поэт,
так он за все заплатит.

* * *

Стихи — предлог для танцев,
и горечь, и любовь —
один зевок пространства
для легких каблуков.

Легчайшее насилье —
над розоватой мглой
стекают шапкой крылья,
расправленные мной.

Туманы околесиц
на городской черте —
пролеты легких лестниц,
означеных вчерне.

На самый легкий воздух
душа моя взбежит,
и рано или поздно
я слягу без души.

Возьму в свои разлуки
одну, навек одну
и протяну я руки,
а ног не протяну.

* * *

Твои горящие глаза,
моя бесцветная усталость
вдвоем уходят в небеса.
Что с нами сталось? Нам осталось

через плечо прокинуть взгляд
и врозь, пока жиреет сумрак,
податься неспеша назад
и доживать, ополоумев,

и доходягой в высоту,
не глядя, прыснуть с разворота,
хотя еще горчит во рту
невычищенная забота

и дух мой слабый и немой
заклинило в плечах усталых,
и повторяю: Боже мой,
что с нами сталось, нам осталось?

* * *

Я скрою от тебя, что я любил.
Еще не раз за дверью скрою
настольную родную пыль
и то, что ты была родною.

Мучительно рожденье в смерть.
По праву высшего страданья
с трудом отваливает твердь
воздушные сырые камни,

и мы просовываем вверх
беспамятные наши души,
минутно ощутив теперь,
что нам не станет лучше.

А раньше, раньше, а пока
я скрою от тебя еще раз,
еще не раз и облака
и то, что мы любили порознь.

* * *

Тот хрусталь, который ты дала,
понадеявшись и глянув со значеньем
за спину мою, где два крыла
на асфальт отбрасывали тени,

я потом с одежды собирал,
тряс в ладони и ловил по звуку,
будто бы играя жал и жал
тонкую натасканную руку.

И ничем не выдам то, что мне
собезьянничав пошла навстречу
женщина, которой нет дурней,
с тонкою натасканною речью.

Нет дурней ее, и нет сильней
и печальней нашего союза,
женщина на облачной волне,
легкая моя, благая Муза.

Потому-то ворох за спиной
не прими за ангельские крылья —
я оброс той облачной волной,
в милый час она меня прикрыла.

И меня ограбить и продать
ни одна моя любовь не сможет —
то, что было, я уже отдал,
то, что будет, я вперед ей должен.

* * *

Не то, чтоб едким стал мой день,
отнюдь не злым и грозным,
но я растерт как тень,
но я иду как слезы.

Волочит каждый за собой
меня, от солнца прячет,
и плачет, плачет мной любовь, —
а я не плачу — плачет.

Необязательны стихи
и даже не желательны.
Как будто мелкие грехи —
поэты и писатели,

но бабочки трепещут в нас,
по сути только ими
всем племенем в наш судный час
оправданными сгинем.

* * *

По аналогии с любовью
порывист и случаен страх,
беспамятная речь сыновья
выскакивает просто так.

Любая тень твердит о свете,
а люди взятые в удел
о том, что княжеские дети
не подчиняются узде.

Тоскливый выкормыш свободы,
душою обращенный вспять,
свидетельствует об исходе,
когда он просится назад.

А жизнь и тянется, и злится.
И что в ней свет, и что в ней тень?
Две-три неряшливые птицы
стремглав пропарывают день.

Илья БОКШТЕЙН

ИЗ ПРИЧИННОСТИ В ЧУДО ВОЙДЯ

Как страданье в безверьи безмолвия,
Как печаль в необъятной судьбе,
Как в ночи беспредельная молния
Возникает мольба о тебе.
Замолкает в мольбе озаренности
исступленного счастья колосс,
Словно листья возносятся стройности
Изумленно сияющих слез.
Куполами вращаются радости,
Поднимая скрещения крыл
Светом ранена — душу выносит стих,
Что весь мир во мне с детства таил.
Открывается дверь в глубине пути,
Смерть становится словно дитя
Из тоски вышла образом вечности
Из причинности в чудо войдя.

Ты хрипел: занавеску закрой
За окном занимается день
Мыс лопатки от ночи сырой
Дремлет ласточкой, канувшей в льтень
Пятилампой ладонь на груди
Чья твоя ли, моя? Не пойму,
Чье дыханье носами удит
Между ртами раскрытыми тьму?
Что не вспомнят они, что поют...
Словно проруби в рыбьем мозгу
Наши губы молчание трут
Друг о друга как слезы реку
За тобою никто не придет
Позади нас — последний потоп
И над ним — в ночь уплывший полет
Обоюдный качается ласточки лоб.
Вдруг ты встал: ночь проходит, смотри,
Кто ж добавил — она не одна,
Подожди, друг, окно затвори.
Дождь допьет эту чашку до дна
И оставит в ней полный покой
За окном занимается день
Воротник твой от ночи сырой
Дремлет ласточкой, канувшей в тень.

* * *

Из черных окон витражи мирозданий
Из ночи иконы цветные глаза
Вращается чаша — ладони мерцанье —
Овалом лица — витража океана
Лимоновой доли сияет слеза.

* * *

Волчок на воде — в луче лодки огонь
На вершине скалы извивается конь
Рухнул мыс — океан полон крыс
Дамки прыгают на шахмателом столе
Подоконник звенит, каблуком оплечев,
А у шахматной пешки на черном плече
Шашкой улыбится кавалерист.

* * *

Из ночи, ощерившей сытую серость
Из начерно-новой завесы пещеры
Внезапно открыли густые глаза
Балконы цветов голубеющей залы.
Колонны шагают — по клавишам лупит
Печатью пчелиного счастья азарт
Перчатками хлопают сферы
Серебряной памятью шара.
Смеется портрет надувным пузырем
Притворы улыбки волнуют колосья перины
За письменным столиком в карты махнем
В глубокой тарелке расписан на нем
Небесный зрачок карася половины.

* * *

По дворам я плутаю на золоте лет —
Израсцов лихолетья — пруды замостив
Черного носорога на белом столе
Приблизить к окошку морской необходимости.

* * *

Время не идет — оно приходит
Не идут минуты, но грядут
За носы нас будущее водит
За уши предчувствия берут
Почему так редко узнаем мы
наших судеб неизбежный склад
Может вправду ум наш от безумья
Отличает только знание преград?
Если б знали мы что с нами будет
И что было там, где нас уж нет,
Были б мы тогда совсем не люди
А бессмысленно сияющий нам свет
Он не любит, не страдает — он все знает
Пребывая в качестве одном
Одного себя он ощущает
Создавая глубину кругом
Сам же становясь все меньше, тоньше
Он уносится в бездонноясный сон
Молятся вокруг его все дольше
У окон, у красочных икон.

СЮРДАЛЬ-14

На углях деревья жирея молились
А может быть гуси ломают калитку?
Я землевер — Иуда, распял свое тело солнцем
Ладонь — лучевенное чудо горит
Тридцатью лепестками червонцев
Мой колокол-крест, колосись!
Лоб — зеленая козочка кос
Земля — приземленная дева

Окутало марево ниву
Как митра священника в белом.

* * *

О ветку луч сломался — треугольники шагов —
Лучистого кузнечика колени
Какое сумашествие цветов!
Как много цвета без цветенья!

* * *

Что стоишь ты у края обрыва
Не уйти не сорваться нет сил
Как сплелись твои руки красиво!
Как решетки закрыли подсолнечник-мир
Ярко-красными грусти глазами
Смотришь в темное дно у черты
Тебя больно коснуться руками
На осеннем листе в моей памяти ты.

ЛЮБОВЬ

Знаю: слов твоих разгадка не умна
Их подкладка и с украдкой
Примитивна и темна.
Но восходит тайным светом ожиданья тишина.

Врезалась форточка рамой офорта,
В гладкую рань — без резца обелиск,
Свернута ткань — подлокотник дивана,
И над столом гладиолус навис.

Мысли-усмешки усы обострили,
Чуть приоткрыли притворов очки,
Рамы-углы каблуки продавили,
Мнутся под ребрами ночи зрачки.

* * *

Люблю я в тебе ни метель, ни покой, —
Мою бывшую жалость к другой.

* * *

Блудный ублюдок в платке Магдалины
Плачет в чулане — хоть крысу целуй,
На равнодушно безликом экране
Людным окошком увижу петлю,
Если б тоска разветвленьем надреза,
Венного, вспенившись, вылилась вся,
Лишь бы в ревущей ночи отчужденья,
Не было хаоса небытия.

СЮРДАЛЬ-8

Дома колосились, как в бане,
Я думал — музыка Баха,
Но это — иного мира истома,
Духовно питонного мира истома
Меня пожирает огромными стеклами
Вечернего рая.

Я — динозавр,
Даль сверлю носом —
Длинною свечкой,
На бои! — это знал уже тысячи лет,
Открой же, не бойся! — слоновая вечность,
Из хобота свет.

СЮРДАЛЬ-3

Я в ночь иду, как тысячи свечей,
Я в сон пойду с лучинами лучей,
Плывет в лучине человек
На луч весла — на диска бас.
Угас в пучине человек,
Всплывает черный глаз.

Из чаши выпала земля,
Как желтый бутерброд,
Сидит на нем любовь моя —
Крысиный хвост грызет.
И видит молодость свою
В лице богатыря,
Что держит на краю плеча
Ее, меня.
А мир нам улыбается,
Как гражданин судья.

СЮРДАЛЬ-1

Слон с голубыми глазами
Гладиолусом хочет стать,
Так жизнь моя — пытка чудная
Страшится в земле прозябать.
А смерть велика, как истома,
Покой окольцует огнем,
Христа поцелует крестом,
Любовь расплавляет саркому
В чернеющем чреве моем.

ТВОРЧЕСТВО

Я был сегодня будто бы в аду
В котором буду в будущем году
И от предчувствия я умереть хотел,
Предчувствуя бесчудие — бессмертия предел.

Исступленная боль моя нищенкой бродит,
Ищет в боли спятившую вечность —
Она мечется в котомке за плечами,
Молит время о мученьях выдать слово,
Что почудится предсмертным криком,
Кличет в вечности Спасителя спасти —
Высоси вершину моей ненависти!

Я был сегодня будто бы в аду,
В котором буду в будущем году,
И от предчувствия я умереть хотел,
И страх мой — в беспредельность улетел.

ТОСКА

Не повесится ли мне
В новости, иль на весне,
Не покаятся ли мне
Маятнику на стене.

Безмолвье — пустынный плач.
Стук в заколоченную дверь,
В камере хохочет палач.

Арье ТАРТАКОВЕР

ЛИБЕРАЛИЗМ, ХРИСТИАНСТВО И ЕВРЕИ

И в общественных кругах, и среди исследователей, по-видимому, нет разногласий относительно оценки кризиса, переживаемого человечеством в наши дни. Это один из тяжелых, а может быть, и самый тяжелый кризис в истории человеческого общества, потрясающий его моральные основы. Можно считать, что он явился результатом последней мировой войны, поскольку все попытки создать новый мир потерпели крушение, и хаос не только не уменьшается, но даже приобретает все большие масштабы. Можно рассматривать наш век, как "век без Бога", в котором исчезли моральные основы предыдущих поколений, а новые ценности не появились.

Если исходить из этой концепции, то первые признаки кризиса появились еще в период "позднего капитализма", в начале этого века, породившего колониализм, империализм и приведшего к сегодняшней ситуации. Но каковы бы ни были разногласия относительно истоков современного кризиса, одно очевидно: выход не найден до сих пор и не будет найден без новой революции в общественном порядке.

Статья публикуется с сокращениями.

Последнее поколение знает немало революций, начиная с Американской и Французской в конце XVIII века и кончая Русской и Китайской в этом веке. В них проявились все общеизвестные признаки революции — радикальный сдвиг под влиянием великой идеи, тогда как сама идея оказалась неосуществленной.

Мы уж не говорим о "революциях", не оказавших сколь-нибудь серьезного влияния на современный мир — в Латинской Америке, или на Ближнем Востоке, или в Африке, не говорим о радикальных переворотах и сдвигах в науке и технике.

Современный капитализм, технический прогресс, колониализм, — все это, конечно, оказало большое воздействие на социальное развитие, но общественное влияние здесь не было главным, во всяком случае, всерьез и надолго.

Известны также некоторые общественные течения, напоминающие в чем-то Французскую революцию, но и им не удалось создать новую действительность, не удалось выполнить свою миссию, и их моральное влияние либо чрезвычайно сузилось, либо исчезло вовсе.

Вспомним утопический социализм, национализм, либерализм (особенно середины прошлого века) и, наконец, "прагматический" социализм. Утопический социализм не превратился в движение крупных масштабов и в конце концов исчез с общественной арены. Национализму, который сыграл крупную роль в освобождении народов, с моральной точки зрения, не удалось удержаться на высоте. А в некоторых случаях он даже превратился в один из факторов морального упадка. Либерализм прошлого также не оправдал себя, слившись без нужды с капиталистической системой и став ее оруженосцем. Ну, а социализм? И он не принес, за некоторыми исключениями, ощутимых и постоянных результатов. Что же касается Советского Союза и Китая, то здесь вместо обещанного обновления выродилось само революционное движение.

Чтобы завершить эту мысль, напомним еще "новую левую" и "третий мир". "Новая левая" не породила новой действительности, а так называемый "третий мир", который намеревался построить наряду с Западом и Советами новую жизнь, мобилизуя силы Азии и Африки, остался чрезвычайно далеким от достижения своих целей.

Нет, не отсюда, судя по всему, нужно ждать обновления. Революция, на которую многие молятся, возможно, смогла бы направить человечество к его предназначению, если бы смог эффективно воздействовать хотя бы один из ведущих факторов современного общества. Два таких фактора, Запад и Советы, являются главными. К ним, путем в чем-то парадоксальным, присоединился третий, который, правда, известен тысячи лет, но его революционная роль начала проявляться только в последнее время. Я имею в виду религию и церковь.

Из всех этих трех факторов, если речь идет о коренных общественных реформах, может быть принят во внимание только первый и третий. Советский Союз превратился в государство, продолжающее в немалой степени политическую традицию царской России. То же самое, хотя и в менее яркой форме, проявляется в Китае.

Некоторые считают, что современный капитализм, развивавшийся в Англии еще в конце XVIII века, вырос из либерализма, который начал складываться в предшествующих поколениях. Другие утверждают противоположное — сам либерализм, особенно в предыдущем веке, возник как продукт капитализма ради удовлетворения его нужд. Оба эти взгляда не выдерживают критики. Хотя и считается, что либерализм вызвали к жизни Американская и Французская революции, на самом деле он уходит своими истоками в предыдущие поколения, и эти истоки иногда выглядят довольно странно.

Верно, что в Американской и Французской революциях (как и в революции 1848 года) либерализм нашел свое яркое выражение. Однако во всех других случаях он выступил достаточно отчетливо, без большого и, конечно, уж не решающего влияния экономического фактора. Прежде всего, он акцентировал значение свободы и прав человека как основы существования и развития общества. Все остальное и, в част-

ности, отношение между либерализмом и экономическими факторами и государством, было вторичным.

Парадоксальным было развитие третьего фактора — религии и церкви. Утверждение, что этот фактор не очень связан с жизнью общества потому, что церковь основывается на отношениях между человеком и Богом, никогда не соответствовало действительности. На самом деле, влияние религии всегда чувствовалось в общественной жизни. Это, в частности, нашло свое яркое выражение еще в древнее время в истории еврейской веры. Она возникла с самого начала как вера общественная, исполненная заботы о правах человека, о связях человека с человеком, не меньше, чем о связях между человеком и Богом. Она заботилась о справедливости и о любви к человеку.

Правда, эти принципы, определявшие в большой мере жизнь Израиля, впоследствии были утрачены в других религиях, которые возникли из еврейства — в христианстве и исламе. Христианство, которому удалось восторжествовать в Европе и Америке, превратилось в один из отрицательных факторов развития общества. Вместо защиты прав человека, оно способствовало его порабощению — и так продолжалось в течение сотен лет, часто в самой жестокой форме. Даже если верна посылка великого немецкого социолога Макса Вебера, согласно которой современный капитализм взошел на дрожжах протестантской веры, то ведь надо учесть, что влияние протестантской церкви в последние двести лет ощущалось прежде всего в экономической жизни, но не в области прав человека. И здесь не было различия между ней и католической церковью.

Революция, которую переживает церковь в нынешнем веке, — одна из самых глубоких революций, хотя мы стоим лишь на ее пороге.

Нынешний век называют "веком без Бога". Церковь, между тем, переживает процесс возвращения к высшим моральным ценностям, утраченным в предыдущие века.

Есть, безусловно, доля правды в том, что здесь сыграло свою роль преследование церкви со стороны нацизма. Но это

объяснение вряд ли можно назвать исчерпывающим, ибо остается непонятным, почему нацизм обрушился на церковь. Не потому ли, что он видел в ней не только конкурента в смысле влияния на массы, но и потому, что он полностью отвергал ее моральные основы. Они казались ему — и справедливо — опасными и угрожающими самому его существованию (не говоря уже о том, что нацизм не мог не видеть роли церкви в спасении евреев).

Таким образом, усилился процесс возвращения к моральным основам христианства. Первые признаки этого процесса были уже заметны в начале века. Впоследствии он ускорился вдвое и втрое, пока не принял характер революции. Отсюда — и растущее сотрудничество между христианской церковью и еврейским народом — замечательное явление нашего времени! Здесь и надо искать ответ на центральный вопрос современного общества — есть ли выход из кризиса, самого тяжелого в его истории? О таком выходе можно говорить лишь при условии сотрудничества между демократическим миром с одной стороны, и религией и церковью — с другой.

Коммунистический мир, как уже говорилось, не может быть принят в расчет. Но и путь, ведущий от мира демократии и христианской церкви к просторам свободы, представляется далеко не прямым. Не следует думать, что достаточно одной динамики развития, чтобы приблизиться к желанной цели.

Либеральный и демократический строй, сложившийся в Англии, а затем в Америке, имел с самого начала два недостатка, связанных между собой: излишне подчеркивались принципы формальной демократии, без достаточной заботы о ее содержании, и односторонняя связь с экономической сферой. Из этой связи родились индивидуализм и "манчестеризм", фундаментом которого явилось стремление к прибыли. Второй недостаток особенно усилил общественный разброд. К существующей социальной проблеме, связанной с положением трудящихся классов, добавилась проблема колониализма и империализма. Возникла потребность в радикальной реформе, и первый шаг по пути к ней уже был

сделан, когда вместо формальной демократии стала складываться "социальная демократия", заботящаяся не только о свободе и правах человека, но и о социальном благоденствии для всех.

Не случайно этот принцип был впервые, хотя и не в полной мере, осуществлен в Америке. Может быть, потому, что эта страна с самого начала не была вовлечена в орбиту колониализма и империализма. Затем, во время кризиса 1929 года, было положено начало новому социальному законодательству. Уже тогда стало понятно, что невозможен изоляционизм и необходимо международное сотрудничество, основанное на принципах либерализма. Именно тогда мировое лидерство в большой мере перешло в руки Америки и остается в ее руках по сей день.

Однако единство Западного мира выглядит далеко не полным, и только когда ему удастся консолидироваться в сферах политической и моральной, и расширить свое влияние на "третий мир", — только тогда может быть проложен путь к лучшей жизни. И снова необходимо подчеркнуть роль веры и религии в процессе обновления. Фактор, который в течение веков препятствовал общественному прогрессу, превращается в его катализатор. Правда, до сих пор влияние церкви чувствуется лишь в области отношений между верующими. Но церкви предстоит выполнить историческую миссию и в общественной области, как партнеру демократии, на пути возрождения либерализма и его победы.

Такова дорога и ее можно обозначить, как дорогу социальной демократии. Пока что единственный случай, когда идея общественного прогресса добилась своего широкого воплощения, это — путь либерализма в Америке. И этот путь, слившийся с глубокими основами религиозного возрождения, поведет к решению главной общественной проблемы современности.

Зададимся теперь вопросом: а каков еврейский аспект проблемы? В действительности, этот аспект значительно шире, чем кажется на первый взгляд, и сам по себе ставит перед нами ряд вопросов. Каково было участие евреев в различных течениях, из которых вырос современный либерализм? Какой была позиция этих течений по отношению к еврейскому вопросу? И каково, наконец, еврейское значение того направления, которое намечается сегодня, и можно ли его назвать обновлением революционной традиции либерализма?

В жизни еврейского народа, на протяжении всей его истории, революции сыграли настолько большую роль, что евреев можно назвать типичным народом революции. Это верно и относительно роли революции во внутренней жизни еврейского народа и относительно того участия, которое он принял в революционном движении других народов. Участие это проявилось уже в революциях XVIII века, Американской и Французской, и в значительно большей мере позже, когда евреи стояли во главе либерализма и социализма.

Почему-то в широких кругах известно лишь о роли евреев в социализме, хотя на самом деле положение было иным. Их участие в утопическом социализме было ничтожным, — совсем не то, что в либерализме, где они выделялись, а сам либерализм сыграл важную роль в их эмансипации.

Правда, положение изменилось с приходом "прагматического" социализма. Нет сомнения в том, что евреи занимали видное место среди основоположников и вождей социализма. Но это же верно и в отношении либерализма, причем, может быть, даже в большей степени.

Вряд ли приходится говорить о роли еврейских лидеров в социализме. Достаточно вспомнить таких, как Моше Гесс, Бернар Лазар, Леон Блюм, не говоря уже о Марксе. Или таких социалистов, как Бауэр, Адлер, Роза Люксембург, Троцкий и многие другие. Моше Гесс, Бернар Лазар и Леон Блюм — это особая статья. Всех остальных объединяет то, что они чурались своего еврейства. Этого не было в либерализме. Напротив, многие из либеральных лидеров известны своей деятельностью для своего народа.

Адольф Фишгоф — один из вождей революции 1848 года и вождь либерализма в последующие годы (его роль здесь равна роли Маркса в социализме) энергично действовал в

еврейских делах. Он, например, выступил в немецком парламенте в защиту прав евреев и способствовал их вовлечению в земледельческий труд. То же можно сказать о Габриэле Рисере, лидере либерализма — мужественном борце за права евреев. Характерно, что, несмотря на это, он был признанным вождем немецкой нации. Или возьмите Ицхака Коранда, который также являлся одним из лидеров либерализма и в то же время видным деятелем еврейского движения. Шмуэль Блох был первым евреем в австрийском парламенте, но он известен и как вождь и борец против антисемитизма. И таких примеров много.

Не менее интересно сравнить постановку еврейского вопроса в программах обоих движений. И социалисты и либералы боролись против антисемитизма настолько рьяно, что противники социалистов называли их "отрядом защиты евреев", хотя они сами, по-видимому, не слишком с большой любовью принимали эту кличку. Но в обоих движениях проявлялись и многие признаки антисемитизма. И опять-таки в социалистическом куда сильнее, чем в либеральном. Такой грубой травли евреев, которая была в утопическом социализме Прудона или Фурье, никогда не было в либерализме. У либералов никогда не было такого антисемитизма, как во французском социализме в семидесятых годах, не было ничего, напоминающего поворот в русском коммунизме, — от борьбы с антисемитизмом в первые ряды ненавистников Израиля.

Так подошли мы к тому, что делается в наши дни и что, в известном смысле, напоминает происходившее в прошлом веке.

Три указанных выше фактора — Западная демократия, коммунизм и христианская церковь — хорошо известны своими позициями в еврейском вопросе. В странах Запада бывают периоды колебания и даже недружественного отношения к евреям. Так было в Англии в дни Мандата, когда фактически она отказала в помощи Еврейскому Национальному дому. Такой была политика Франции (суд над Дрейфусом, Виши во время Второй мировой войны), а также ее антиизраильская линия, продолжающаяся по сей день. В Америке не было таких кризисов. Подобно тому, как Соединенные Штаты превратились в главный фактор либеральной политики, они продолжают традицию борьбы против антисемитизма и помощи Израилю.

Еще более выпуклым представляется это отчетливое либеральное направление в христианской церкви. Ее общий подход к вопросам общества и морали слился настолько с ее подходом к еврейским делам, что их невозможно разъединить. И так же, как в предыдущих поколениях, церковь являлась фактором общественной реакции, а потом освободилась от этого путем внутренней революции, она изменила свое отношение и к еврейству.

В течение всей еврейской истории христианский антисемитизм был (за исключением нацизма) наиболее сильным, но ни одному из политических факторов современного мира не удалось так решительно преодолеть антисемитизм, как это сделала христианская церковь.

Таков еврейский аспект процесса, который можно назвать возрождением либерализма, процесса, который открывает перед нами главный, а, может быть, даже единственный путь преодоления общественного кризиса. Конечно, еще очень далека эта цель. Она далека даже в Западных демократиях, не говоря уже о Советском блоке и о "третьем мире".

То же положение и в религии. Процесс обновления и укрепления связи между любовью к Богу и любовью к человеку ограничен пока пределами христианской церкви. Но и там он еще далеко не завершен, не говоря уже о других религиях, охватывающих большинство населения земного шара.

Еще пройдут многие годы, а, может быть, десятилетия и столетия, пока будет проложен путь от мира без Бога к Новому миру. Только тогда, по-видимому, найдет свое окончательное решение и еврейский вопрос в Диаспоре. А пока евреям предстоит снова встать в первые ряды борющихся за царство Божие на земле, как они это делали в те-

чение сотен и тысяч лет в прошлом и как делают это в последнее время, отстаивая идеалы либерализма. Только борясь за эти идеалы, они лучшим образом выполнят свою всечеловеческую и национальную миссию.

(Журнал "Мознаим")
Перевел с иврита Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

Дора ШТУРМАН

ХАОС ВМЕСТО ДЕМОКРАТИИ

ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Все мы считаем себя специалистами в педагогике. Пожалуй, даже не столько родители, самоуверенность коих быстро перечеркивается трудностями воспитания первого же ребенка, и не профессиональные воспитатели, осознающие всю тяжесть своих обязанностей, сколько наблюдатели со стороны. Они всегда и все знают лучше, чем родители и учителя. Впрочем, от плохого воспитания детей страдают все, кто с ними сталкиваются. Поэтому трудно оставаться нейтралистом в этом для всех небезразличном вопросе. Каждому, кто замечает недостатки воспитания кажется, что он видит, как их исправить. Но здесь возникает парадокс всех сложных социальных задач: невероятно трудно даже мысленным взором охватить все компоненты воспитания.

Попытки и предложения исправить "все", исправить "радикально", "раз навсегда", "коренным образом", оказываются здесь — при ближайшем рассмотрении — пустословием. Похоже, что педагогика в ее нынешнем состоянии не пришла даже к перечислению тех факторов, с которыми связан процесс воспитания.

Фактически этот процесс во всем мире идет вслепую. Я не знаю, хорошо это или плохо, и вот почему: когда невежество и близорукость начинают действовать целенаправленно и единообразно, получаются страшные вещи, а педагогическая мысль мира еще достаточно близорука и точным знанием не перегружена.

В таких ситуациях может оказаться, что стихийность лучше, по крайней мере, менее опасна, чем то, что кажется сознательностью, а на самом деле является произволом, ибо строится на неполном знании и ошибочных допущениях.

Может быть, сегодня важнее всего наблюдение, исследование, интуиция и решение более или менее определившихся конкретных, частичных, а не "исчерпывающих" задач воспитания.

Сразу же делаю оговорку: под стихийностью в данном контексте я подразумеваю отнюдь не господство ученической стихии в школе, а интуитивные решения и свободные искания педагогической мысли.

Я хочу выделить один вопрос школьной жизни, злободневный, как мне кажется, для школы всех демократических стран. И даже не только для школы, так как он является частью более широкой проблемы. Условно, но не исчерпывающе, я бы назвала ее проблемой свободы и организации, свободы и правопорядка. Думаю, что эта проблема достаточно остро ставится не только школой, и общая тенденция свободного мира в ее решении клонится к следующему: перевес оказывается на стороне наименее цивилизованных в нравственном отношении сил, на стороне анархизма, граничащего с асоциальностью — не в конечном счете — на стороне силы, бесцеремонности и неведения.

В макромире (если рассматривать общество по отношению к школе, как макромир) этот перевес выражается в склонности демократии капитулировать перед внешними тоталитарными и террористическими силами, перед внутренним экстремизмом и перед уголовщиной.

В школе та же тенденция реализуется, как капитуляция перед юношеским нонконформизмом, не приемлющим организационных ограничений, — капитуляция призванных учить перед призванными учиться. И капитуляция для первых — мучительная, а для вторых — опасная. Проистекает все это из лучших побуждений — из уважения к личности и ее свободе, но оборачивается в микромире выдачей нравственной личности на глумление личности безнравственной и асоциальной.

В школе же смешение категорий уважения к личности с капитуляцией перед асоциальным поведением обессмысливает всю ту деятельность, ради которой собираются под одной крышей воспитатели и воспитуемые, педагоги и дети.

Всякий из нас в состоянии рассматривать новые (или частично новые) для него вопросы только на основании своего предыдущего — со включением нового — опыта. Поэтому я обращусь к доступным для меня аналогиям и противопоставлениям.

Опыт России и, в частности, опыт российской школы последнего века полон значения для всего мира. В России история поставила огромный трагический эксперимент, испытывая на ее народах как возможность сознательного социального конструирования, так и ряд идей, занимающих издавна все человечество. Российская школа тоже стала полем событий, которые исследователь-наблюдатель вправе интерпретировать как педагогический эксперимент.

Я не пишу статью по истории школы, поэтому оставляю в стороне богатейший опыт российской школы 1790—1917 годов. Укажу только, что это сложное и конфликтное развитие, богатое блестящими именами и поучительнейшими эпизодами, шло в направлении многосторонней демократизации школы. Как уже было сказано, процесс был конфликтным и прерывался реакцией и рецидивами верховной унификации. Но российская досоветская школа в целом развивалась в направлении, отстаивавшем частную и общественную педагогическую инициативу, создание школ разных типов и разного назначения, расширение духовной свободы учащих, а значит и учащихся.

При этом демократизация российской школы шла, — и это самое важное для нас в этом забытом опыте, — без внутренней хаотизации педагогического процесса, хотя понятие организованности варьировалось в самых широких формах.

В 1917 году российскую школу захлестнул и втянул в себя водоворот, превративший в кипящее месиво всю российскую жизнь. Только к началу 1930 годов окончательно стабилизировалась и отлилась в совершенно определенные формы новая российская школа, в основном неизменная с тех пор по сей день. Это не значит, что советское государство не занималось до тех пор своей школой. Отношение советского партократического государства к его школе было однозначно определенным с первых шагов новой власти. И все же в 1918—1931 годах в этой школе существовала вопиющая противоречивость. С одной стороны, это была школа тоталитарная, антидемократическая, ибо в ней допускалась только одна идеология. В ней преподносилась учащимся только одна тенденциозная модель мира. Через нее внедрялась в личное и общественное сознание только одна узаконенная система оценок, обусловленная партийной идеологией. С другой стороны, до 1932 года в этой школе господствовала полная внутренняя неопределенность и неупорядоченность. В ней рухнули или сместились все преемственные, привычные, обусловленные многолетним отбором приемы преподавания и воспитания. Под напором времени и его политических потрясений в ней исчезли или существенно ослабли все дисциплинарные ограничения. Дисциплина и упорядоченность педагогического процесса стали синонимами угнетения. Хаос учебно-воспитательного процесса воспринимался как раскрепощение.

Лишь самым талантливым учителям, обладавшим незаурядными лидерскими способностями, удавалось в этом водовороте, в котором неграмотный комсомолец главенствовал над беспартийным "попутчиком"-педагогом, сплотить опьяненных от своей неуправляемости учеников и заставить их работать серьезно.

Но таланты во всех областях жизни одинаково редки, а средний учитель в таких обстоятельствах работать не мог. Тем не менее все это воспринималось как демократизация школы, несмотря на ее политико-идеологическое порабощение партократией.

В тридцатых годах советская школа обрела дисциплинарные формы, более соответствующие ее государственному

предназначению. Но речь сейчас не об этом. Речь идет о том, что внутренний хаос школы, неуправляемость ученических контингентов и своеволие учеников — это отнюдь не синонимы ее демократичности.

И тут мы подходим к парадоксальной аналогии между нынешней западной (в том числе и израильской) школой — с одной стороны — и советской школой 1918—1931 годов — с другой. В обоих случаях организованность отождествляется с насилием, а беспорядок, делающий невозможным сколько-нибудь эффективный процесс обучения и воспитания — с торжеством свободы, с уважением к правам учащихся.

Молодежи свойственно противопоставлять влиянию старших не защиту какой-то продуманной и испытанной линии поведения, а реактивный нонконформизм — протест развивающегося существа против внешнего принуждения. Это поведение скорее зависимое, чем самостоятельное: "Ты велишь поступать так-то? Тогда я поступлю противоположно твоему приказанию".

Неупорядоченность и разнузданность поведения, состояние перманентного бунта нередко связаны с духовной незрелостью, с неразумной реакцией на непонятные или неприятные требования. Удивляет не то, что это качество присуще современному подростку и юноше: оно присуще юношеству извечно. Удивительно то, что современная школа демократических стран в растерянности останавливается перед хаосом, бушующим в ее стенах, что она с почтительным ужасом признает его право на существование.

Я говорю не о признании факта юношеского нонконформизма и не о признании естественности этого факта. Юношеский нонконформизм не только естественен — он является одним из нормальных симптомов роста. Но что из этого следует? Неграмотность тоже естественный и врожденный факт. И неразвитость ума. И ограниченность знаний. И невоспитанность в подавляющем большинстве случаев бывает врожденной — в отличие от воспитанности, врожденной редко. Что из этого следует? Естественность некоего факта не довод в пользу того, что ему ничего не следует противопоставлять. Катастрофа состоит в том, что современная демократическая школа склонна рассматривать ребенка, подростка, юношу

как партнера той же "весовой категории" (в интеллектуальном и правовом планах), что и учитель. Школа воспринимает человека, врученного ей для того, чтобы она учила его, как зрелого правого субъекта. Вместо вдумчивого, уважительного, хорошо оркестрованного (то есть включающего родителей и весь учительский коллектив) преодоления рефлекторного ученического нигилизма, школа склоняется перед ним, как перед атрибутом свободы личности. Между тем свобода личности — это совсем не бездумное, автоматическое отталкивание неразвитого сознания от всего, что предписывается ему извне, а умение аналитически мыслить. Это способность сознательно оценивать внешние требования и свои порывы и интересы. Умение аналитически мыслить — свойство развитого и независимого ума. Но в том-то и дело, что воспитание учащихся, дисциплины ума, их широкое умственное развитие, практически невозможно в атмосфере хаоса, который школа склонна рассматривать как уважение к достоинству и свободе ученика. В этом, пожалуй, более, чем в чем-то другом, и заключается квадратура круга современной педагогики. При таком понимании собственного предназначения школа кончается. Агонизирует, как агонизировала она в половодье экспериментаторства и ученического самоуправства советских двадцатых годов.

Культивируя беспорядок, школа забывает об истинных интересах ученика. Она предает и ту часть детей, которая осознает необходимость учиться и хочет учиться. Она предает учителя — и как личность, выполняющую сложнейшие задачи воспитания и обучения, и просто как человека, ибо лишает его правовой защиты перед бессознательной стихией класса.

Страх перед толпой присущ многим, особенно людям с тонкой душевной организацией. Поскольку учительство формируется массово и случайно, а лидерские данные не всегда совмещаются с другими важными для учителя качествами, то во взаимоотношениях между учителем и классом нельзя делать ставку только на знания и волевые качества учителя. Чтобы исключить и учительские терзания, и нервные срывы, порождающие нарушения учительской этики в бушующем классе, чтобы гарантировать ученикам возможность обучения и воспитания, учитель не меньше, чем ученик, должен быть защи-

щен школьным "общественным договором", школьным правом. В свободной демократической школе администрация, учителя, родители и ученики свободны совместно обсудить и откорректировать этот договор, варьировать его в каждой школе достаточно широко. Но правила, доведенные до сведения каждого участника договора, должны быть законом. Ни один из участников общей работы школы не должен остаться без правовой опоры во внутреннем распорядке школы: ни ребенок, ни взрослый, ни класс, ни учитель, ни школа как учительская организация, ни класс как ученическое сообщество.

Мы плохо представляем себе, как велики возможности демократической школы в создании внутришкольной модели демократического сосуществования групп с разными обязанностями и с четкими правами по отношению друг к другу. Но, к несчастью, школой эти возможности так же искажаются, как и самим обществом. Освоение сложного механизма демократии, позволяющего отстаивать свои права, не посягая при этом на права чужие, — такой видится задача школы, одновременно и свободной, и цивилизованной. Кстати, и у себя дома, по отношению к своим детям, такое воспитание — дело достаточно трудное, и родители выступают то в роли насильников, то в роли жертв.

Всякая школа — это лицо своего времени. Школа диктатуры несет в себе неустранимые черты того идеологического централизма, который составляет суть диктатуры. Школа демократии больна основным парадоксом демократии — трудностью обнаружения разумной грани между свободой личности и посягательством с ее стороны на чужую свободу.

В школе мы эту грань беспечно переступаем. Между тем, школа демократического общества должна быть школой демократических взаимоотношений. Обеспечение бесперебойного хода учебы, защита прав не только младших, неразумных и бесцеремонных, но и робких, и щепетильных, и юнких должна быть сама по себе частью воспитательного процесса. В ней следует упражнять и тренировать учащихся.

Каждая обида, нанесенная ребенку или подростку, каждая обида, безнаказанно нанесенная ребенком или подростком другим людям, отольется обществу. И я не знаю, на каком этапе человеческой жизни можно исправить просчеты школы.

Петр ВАЙЛЬ,
Александр ГЕНИС

ШАМПАНСКОЕ И ПОЛИТУРА

О песне Владимира Высоцкого

Что за дом притих,
Погружен во мрак,
На семи лихих продувных ветрах.
Всеми окнами обретясь в овраг,
А воротами на проезжий тракт...
В дом заходишь, как все равно в кабак,
А народишко — каждый третий враг.
Своротят скулу — гость непрошеный —
Образа в углу и те перекошены...

Мрачная картина. Свой посконно-домотканый Дом Эшеров. Но нет здесь загадочных призраков, упырей и русалок. Все здесь по-нашему, узнаваемо будничному. И "народишко" — знакомый, свой:

Траву кушаем, век на щавеле,
Скисли душами, опрыщавели,
Да еще вином много тешились,
Разоряли дом, дрались, вешались...

Нет здесь недомолвок, намеков, экивоков. Вот она, Россия-матушка. Докатилися.

Горькая, честно увиденная картина. Это — песня "Дом" Владимира Высоцкого, кино- и театрального актера, поэта-барда, певца, кумира. Россия, увиденная русским, своим.

Во всем русскоязычном, но многонациональном советском искусстве трудно найти человека с более "русской" душой, чем Высоцкий. На всем, что он делает (хоть и Гамлета в театре), стоит клеймо made in Russia. И как-то непонятно: хорошо или плохо — этот гипертрофированный, обнаженный и болезненный, как заусеница, "русизм" Высоцкого. Но понятно одно: Высоцкий — явление характернейшее. Мода на него приходила уже раз пять и ни разу не уходила.

Высоцкий — это по-настоящему народное искусство в том смысле, что оно идет из глубины национального самосознания, и все, что он творит, растворяется в стране, как свое, родное, от сохи.

Высоцкий как-то сразу нащупал свою тему: русский человек. Кто он, и что из него сделала советская власть. Не теорией, а нутром он нашел те бесчисленные черточки, которые делают человека русским. Он сам такой. Ему и к бабке не ходи — посмотреть лишь в зеркало. И он лепит в сотнях песен русский характер. Вот он — русский на тройке, что любит быструю езду. И несут хрестоматийные кони, привередливые кони-сани, а в них сидит ездок, которому на все наплевать, лишь бы скорее несли и чтоб пороша в глаза... Русский этот легко узнаваем. И пришел он, пожалуй, не из Мокрого "Братьев Карамазовых", а из Сибири "Угрюм-реки" и "Мой костер в тумане светит" Полонского. Есть в нем купеческая удаль ресторана "Славянский базар". Но главная его черта не выдумана и не списана. Он искренен. Правдив и в высоком, и в низком. Он всегда готов раскрыть душу постороннему, готов на все плюнуть, все святое растоптать, а потом на него молиться. Образ выходит гротескный, карикатурный, но емкий, а главное — правдивый. Похоже. И ревет хриплый голос, рвутся струны, вибрирует в унисон душа, и повторяешь такое понятное и такое бессмысленное:

На горе стоит ольха, под горою вишня.
Полюбил девчонку я — она замуж вышла.

Все здесь по-настоящему: лирика не прячется за иронию и подтекст. Прямиком из поэтики блатной песни пришли темы любви, дружбы, смелости. "Если друг оказался вдруг...", "Эта ночь для меня вне закона", "Мерцал закат, как блеск клинка".

Чувства нараспашку.

И есть в этой приподнятой откровенности огромные запасы соучастия, сотворчества — так вкусно поется Высоцкий под рюмку. Так понятны и близки его настроения. Видимо, это и есть тот самый эмоциональный контакт.

Но вернемся к нашему русскому.

— А у тебя, ей-Богу, Вань,
Ну все друзья — такая рвань,
И пьют всегда в такую рань
Такую дрянь.
— Мои друзья хоть не в "болонии".
Зато не тащут из семьи.
А гадость пьют из экономии —
Хоть поутру, да на свои.

("Диалог")

Сосед орет, что он народ,
Что основной закон блюдет,
Что кто не ест, тот и не пьет,
И выпил кстати...

("Смотрины")

...Будет Пашка приставать —
С ним, как с предателем,
С агрономом не гуляй —
Ноги выдерну...
Можешь раза два пройтись с председателем.

("Письмо с выставки")

Кто это? Неужели тот же русский, что "сыт по горло, до подбородка", который "взял да уехал в Магадан"? Господи, до чего мерзкая харя высовывается из-за карамазовского плеча. Алкаш, который блюдет основной закон, мразь, нечисть. И это тоже русский. Только изгаженный и опошленный низостью советского быта. Идеологический недоумок, перешедший из "Яра" в пивную. Жуткая, непролазная жизнь, и

ее герой — из тех, что "вином много тешился". Высоцкий чутко улавливает все мелкие, так незаметные постороннему детали нашей жизни. Он ее знает до последней черточки. И образ его русского двойственен, как герой песни:

Могу одновременно грызть стаканы
И Шиллера читать без словаря.

Вот тот настоящий конфликт, который должен питать его творчество и часто делает его песни настоящими стихами — Россия и СССР. Русский и советский. Шампанское и политура.

И есть еще одна ипостась Высоцкого — это "натуральная школа" — то есть меткий фельетон, зарисовка — остроумная и точная.

Товарищи ученые, доценты с кандидатами,
Замучились вы с иксами, запутались в нулях,
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.

Это про каждоосеннюю страдную пору в НИИ и университетах, а есть про загранпоездки, про ГУМ, про магазины-торгсины, про что угодно. Жанр настоящего фельетона — этакая развернутая до баллады частушка — нашел своего мастера в Высоцком. В стране, где анекдот выполняет функции газеты, трудно придумать лучший вид комментария происходящих событий, чем неподвластная цензору песня. Высоцкий, как акын: что видит, про то и поет. И уж не его вина, что поет он только про плохое.

* * *

После всего сказанного можно, вроде бы, взять да и подумать, что Высоцкий — бард-философ и публицист. Отчасти это так, но его многогранное творчество этим далеко не исчерпывается. Высоцкий еще и поборник жанра, создавший несколько сотен высокохудожественных, не очень высокохудожественных и совсем не высокохудожественных песен. Понятно, что на одной философии и публицистике тут не уедешь — тут надо быть приверженцем песенной поэзии как таковой, искусства ради искусства. Песня, стих — стремятся отрешиться

от собственных слов и смысла, вырываясь в сферу чистого жанра, здесь уж не допуская никакой градации — здесь все высокохудожественно.

Это — результат того самого эффекта сотворчества "под рюмку" и святой веры в крамольность Высоцкого, в которую, кажется, свято поверил и он сам. Высоцкий, хрипя и рвя струны, изобрел небольшой, но очень производительный печатный станочек для выделки самых подлинных ассигнаций. Но как-то забылся — ручка вертится легко, педаль не тугая, мотор поет — и ненароком наводнил рынок. Началась инфляция. Который Высоцкий, сделанный добротно, а который штамповка в штурмовщину? А разве важно? Теперь уже — разве важно? Ведь стоит клеймо, и как джинсы фирмы "Ли" — где ни сшей — все расхватываются. Далеко не все свои песни Высоцкий пишет — многие подписывает, сперва составив рядом рифмованные строчки, редкостные по чистоте жанра — ни тебе сюжета, ни фабулы, ни даже смысла. Получается совсем нечто, не терпящее обсуждения в терминах не своей системы. А терминов нет, да и систему-то как назвать — "песня Высоцкого", "высоцкопесня"?

И вот поют во всех компаниях бескрайней родины не "Дом", скорее, а "Жираф большой", не "Кони привередливые", а "Про бегуна на короткие дистанции" — потому проще. Мотив незатейливее, строчки короче, а смысл крамольный найдется — ведь Высоцкий же, "высоцкопесня"!

"И думал Будкеев, мне ребра круша: "И жить хорошо, и жизнь хороша". (Намекает: мол, все-таки у нас каждый друг, товарищ и брат). "Бить человека по лицу я с детства не могу". (Зло, да и направлено точно против). "А он все бьет, здоровый черт, ему бы в МВД". (Ну, это уж из рук вон, куда уж прямее). "Лежал он и думал, что жизнь хороша, кому хороша, а кому ни шиша". (Концовочка-то того, не без смысла, ловко это он повел).

Необходимая часть функционального соавторства — чтение между строк — оборачивается бессмысленными поисками запретного там, где его нет. А Высоцкий все намекает, все нагнетает и с такой, бывало, мощью, такой пушечной-по-

воробьям силой что-нибудь эдакое особо пустяковое загнет, что, содрогнувшись и стряхнув мурашки, задумаешься: "А вдруг, а может?.." Нет, может, но не хочет.

Кто не помнит знаменитую песню:

А у дельфина взрезано брюхо винтом.
Выстрела в спину не ожидает никто.

.....

Но парус, порвали парус.
Каюсь, каюсь, каюсь.

.....

Даже в дозоре можешь не встретить врага.
Это не горе, если болит нога.
Петли дверные многим скрипят, многим поют.
Кто вы такие? Вас здесь не ждут.

("Парус")

Может, еще десяток наберется из бесчисленных песен Высоцкого, которые он поет с такой страстью и значительностью. Да и в самом деле, в тексте целый ряд верных утверждений, метких замечаний. И вправду, в дозоре не всякий день попадается враг. И нога болит по-всякому, и петли к кому как относятся. Но их здесь не ждут. В песне. По крайней мере, в таком наборе.

Раздается по Советскому Союзу намекающий рев вместо смысла, и слабеют колени у школьников, и напиваются студенты и учащиеся профтехучилищ, и переглядываются доктора наук. А Высоцкий спекулирует на Высоцком.

Надо сказать, особенно в этом отношении досталось от него спортивной тематике: тут и хоккеисты, и прыгун в высоту, и бегуны на разные дистанции, и боксер. Это и понятно — видимо, дело отчасти в активно-наступательной лексике спортивных терминов, а кроме того, любой соревновательный момент (особенно когда бьют по морде) дает широкие возможности для домысла.

Высоцкого поют. Поют так, как не пели никогда и никого в России. Авторам пришлось в свое время служить в пожарной команде. Наши коллеги стихов не читали (почему, видимо, и с брандспойтами управлялись лучше нашего) и даже говорили по-русски плохо. Но Высоцкого знали. Не все по

имени, но хоть строчки из песен — все. А с другой стороны, было уже отмечено, что в какой еще стране найдешь компанию физиков-академиков, поющих, скажем: "Не помогли мне ни Верка, ни водка. С водки похмелье, а с Верки, что взять..." Поют нежные девочки, стараясь хрипеть, поют семиклассники за первой бутылкой портвейна, поют студенческие отряды, стервенея от сухого закона, поют в кино с экрана, поют магнитофонные ленты, необходимые в доме всякого интеллигентного человека.

Да не так это сложно, и не то, чтобы запрещено. Киноактер Владимир Высоцкий снялся в двух десятках советских фильмов и в каждом пел. Актер Театра на Таганке Владимир Высоцкий больше десяти лет играет на сцене. Бард Владимир Высоцкий записал с полдюжины пластинок — вплоть до партии Попугая из "Алисы в Стране чудес". Короче говоря, Высоцкий — отнюдь не Галич. При всем запрете на Высоцкого Высоцкий не запретен. Не разрешен, но и не запрещен.

Популярна не только песня, но и ее создатель. Высоцкий — это не только автор, но и герой. Этот образ составляет целый комплекс понятий: модель поведения, modus vivendi. По Высоцкому можно жить. Любить. Дружить. И даже противостоять властям. Комплекс "Высоцкий" учитывает особенности многообразной советской жизни — это нечто среднее между комплексом ГТО и комплексом неполноценности. Сильный и благородный человек-хищник, искренний и истеричный в дружбе и ненависти, первый любовник и первый герой, Высоцкий всегда играет "Высоцкого".

Итак, он — образец для подражания. А в качестве такового перестал быть явлением индивидуальным и стал явлением социальным.

* * *

Многое привлекательно в песнях Высоцкого. Скажем, блатная стилизация, щекочущая нервы антизаконностью и

дающая выход вечной тяге русского человека к хмельному угару малины, к разухабистой неприкаянности.

Множество песен-фельетонов слушают потому же, почему их так охотно читают в газете: всегда приятно узнать, что кто-то проворовался. А главное — это приносит успокоение: есть, конечно, кое-где кое-какие отдельные недостатки, сравнительно легко устранимые. И Высоцкий охотно идет на низведение серьезного конфликта до легкой насмешки. Не всегда, разумеется, но вот, например, его песня о Мишке Шихмане, которого не выпустили в Израиль — здесь так. Потому что держаться на таком уровне обобщения, как в "Доме", не под силу автору, да, наверное, не нужно и слушателю. Так — похихикали, головами покачали, да и пошли наутро созидать сами знаем что.

Псевдопротест привлекателен всегда, ибо облегчает жизнь, давая необходимый выхлоп отрицательных эмоций, и в то же время не обязывая ни к серьезному размышлению, ни, тем более, к действию. А особенно, псевдопротест, поданный в добротной упаковке — и потому так споро расходится ширпотребный Высоцкий, что пилюля-то подслащена; прививка проходит безболезненно, и служба социальной профилактики держит марку.

В контексте Высоцкого такого — для массового употребления — почти непонятен Высоцкий страшных деревенских "Смотрин", страшного городского "Диалога", страшного всесоюзного "Дома". То есть, не хочется понимать и принимать, что и эти песни, и про взрезанного дельфина Будкеева написал один и тот же Высоцкий. Потому что, отбросив анализ особенностей, мотивов и тенденций, надо оставить лишь одно: "Ведь может же!" Потому что Владимир Высоцкий может написать:

Кто ответит мне, что за дом такой?
Почему во тьме, как барак чумной,
Свет лампад погас, воздух вылился,
Али жить у вас разучилися?

Двери настежь у вас, *а* душа взаперти.
Кто хозяином здесь — напоил бы вином!
А в ответ мне: видать, долго был ты в пути
И людей позабыл — мы давно так живем...

Потому что в лучших песнях Высоцкого — подлинное гражданское отчаяние, глубина понимания России и любви к ней.

Наталия АГРОСКИН

РУССКИЙ АВАНГАРД

В истории интеллектуального взрыва, отметившего начало века, удивительно переплелись преднамеренность и случайность, эмоциональная спонтанность и математическая упорядоченность и систематичность. Хрестоматийный опус Владимира Маяковского-футуриста не удачный ли тому литературный пример? "Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана..."

Футуристическая, эпатирующая нарочитость, выражающая акт великого освобождения от пут реальности и дающая выход художническому импульсу — предстает сегодня как символ современного процесса творчества.

Возможно ли было предположить тогда, на заре авангардной эпохи, что строки эти станут мифом, приложимым в совершенно буквальном смысле к школе абстрактного экспрессионизма, к Джексону Поллоку, разливавшему "краску из стакана" по гигантским поверхностям своих холстов? А далее, не только к феномену 40—50 годов, но и к опыту новой визуальной культуры в целом.

Разница лишь в том, что уже в 60—70 годы на смену холсту пришли и неживописные средства, которыми стал пользоваться облаченный в ту же желтую кофту Маяковского художник-концептуалист, автор театрализованных хэппенингов, творец искусства "среды".

Связь между русским авангардом начала века и новейшими художественными процессами, невзирая на их хронологическую прерывность, исполнена духом эксперимента. Единый мировой эксперимент ознаменовал визуальную революцию эпохи модернизма: разрыв с традицией изображения объектного, фигуративного мира и создание новой художественной реальности, оперирующей абстрактными представлениями и претендующей на большую духовную ценность.

РУССКИЙ АВАНГАРД НА БИРЖЕ ИСКУССТВА

Коммерческая история русского авангардного искусства — искусства как товара — крайне увлекательна, приближаясь по занимательности к детективному жанру. В самых общих чертах попытаюсь наметить канву этого детективного сюжета, где поразительно сочетаются творчество, новаторство и мастерство с авантюрным духом "золотой горячки".

В 1912 году впервые абстрактные работы Кандинского и Делане были показаны на выставке "Голубой наездник". По свидетельствам критики того времени, выставка прошла успешно. Дух новизны заинтересовал публику — но не круг коллекционеров и богатых меценатов, которые, по всей вероятности, отличались консервативной осторожностью — а круг богемы и художников, кем и были приобретены все раскупленные на выставке работы. Три картины купил русский художник Алексей Явленский и еще несколько — его приятель, также живописец. В те же годы приобретает известность и входит в моду европейский кубизм, который становится основным коммерческим конкурентом русского абстрактного искусства.

В 1922 году в Берлине проходит первая крупная и успешная выставка русского авангарда одновременно с рядом не менее успешных персональных выставок художников-конструктивистов в Германии и Франции. Казалось бы, русский авангард стоит на пороге славы... Но, видимо, ему было не суждено познать успех и славу. Выставленные в 1925 году на международной выставке работы русских конструктивистов не привлекли внимания. Осталось почти незамеченной ретроспективная выставка русского авангарда в Берлине в 1927 году и персональная выставка Кандинского во Франции в 1929 году.

В чем же причина этого внезапного спада интереса к русскому авангарду в конце двадцатых годов? Остался ли он безвестным потому, что был не понят публикой, не принявшей его революционных идей и славянской культурной принадлежности? Или интерес угас в силу геополитических причин: связанные в определенной степени с коммунистическим режимом, не жившие постоянно на Западе, русские художники отвращали своей революционной левизной и приобщенностью к пресловутой "коммунистической угрозе"? Думается, что в этом процессе чисто коммерческим причинам принадлежит главенствующая роль.

В начале двадцатых годов молодой "арт дилер" Канвейлер — интеллектуал (впоследствии импресарио Пикассо) начинает скупать и популяризировать искусство кубизма — Брака, Гриза, того же Пабло Пикассо. Кубистические работы постепенно концентрируются в коллекциях Канвейлеров, а оттуда проникают во все значительные художественные коллекции Европы. Кубистов покупает не только аристократия, но и нувориши-буржуа, стремящиеся вложить свои капиталы в товар, сулящий принести доход. Образованная — при участии Канвейлера — биржа кубистического искусства, акции которой растут, оттесняет на задний план слабое, несостоятельное, не имевшее финансовых патронов русское авангардное искусство, существовавшее в Европе на правах чужестранного чудака.

Знаменательно, что Канвейлер защищал кубизм не только деньгами, связями и умело организованной стратегией рынка, но и пером искусствоведа-критика. Он пишет и публикует в 1920 году (именно в период, когда русский авангард становится заметен в Европе) книгу "Дорога к кубизму". Книга эта отнюдь не только апология кубизму, но прежде всего критика той философской теории, на которую в значительной мере опиралась эстетическая программа Кандинского. Канвейлер резко выступает против "неэвклидового" видения мира, характерного для русского абстракционизма, полностью оторванного от реальности, против славянской склонности к мистике, мессианству и нетрадиционной символике. Книга Канвейлера, популяризировавшая кубизм, насторожила потенциальных коллекционеров русского авангарда и огородила их от несвоевременных денежных вложений.

Интересно, что в 1926 году — именно в том году, когда первая ретроспективная выставка русского авангарда потерпела неудачу, немецкий художник Отто Дикс по заказу — не Канвейлера ли? — написал портрет крупного немецкого магната и коллекционера Флехтхайма, запечатленного в момент покупки кубистических полотен Гриза, Брака и Пикассо. Это живописное произведение было прямой и откровенной рекламой кубизма, способствовавшей, как и всякая реклама, привлечению покупателей и повышению цен на кубизм на бирже искусства. Изысканные патронами кубизма средства оказались настолько эффективны, что до конца Второй мировой войны русский авангард был предан забвению и к нему был почти полностью потерян коммерческий интерес.

Лишь во второй половине сороковых годов он начинает свою вторую жизнь в Европе и Америке. Словно повторяя судьбу французских импрессионистов, художники русского авангарда должны были умереть, дабы обрести славу и величие. В 1935 году, в Москве, прекратив полностью рисовать, умирает Малевич, в 1941 году, также в Москве — Эль Лисицкий, занимавшийся в основном в последние годы жизни организацией выставок и оформительскими работами. И, наконец, в Париже, в 1944 году, в безвестности скончался Кандинский.

Поразительно, что уже через два года после смерти Кандинского историк искусства Бидерман публикует книгу "Искусство как эволюция визуального знания", которая полностью легализует положения и принципы абстрактного, нефигуративного искусства. Вслед за этим парижская галерея Дениз Рене организует первую крупную послевоенную выставку русского авангарда. Выставка имеет огромный успех и привлекает первых коллекционеров.

В 1955 году ранний русский авангард ожидает успех в Америке, где в то время бурно развивается живопись действия, примыкающая к эстетике Кандинского. А чуть позже галерея Дениз Рене в Париже, где в эти годы также расцветает "искусство без формы", организует новую выставку русского авангарда, как предтечу центрального направления современного искусства. С тех пор русский авангард начала века занимает прочную позицию на бирже искусства.

В семидесятые годы русский авангард обходит многие музеи мира — Тейт Гэлери в Лондоне, музеи современного искусства в Дюссельдорфе, Парижский музей современного искусства...

Сегодня, на фоне более поздних абстрактных течений, предстает первозданная чистота первых русских нефигуративных опытов, их философская серьезность, пластическая раскованность, в сочетании с высоким мастерством, эта грандиозная космическая свобода великого интеллектуального прорыва, преодолевшая время...

СЛАВЯНЕ ИЛИ "ЗАПАДНИКИ"?

Итак: нефигуративное искусство, сменившее живопись сюжетов на беспредметный мазок, пятно, росчерк или черный треугольник на белом фоне, пришло из России или, по крайней

мере, из Восточной Европы. Парадоксален тот факт, что родиной модернизма, породившей самое современное искусство, стала захолустная страна с посредственной провинциальной живописной традицией, малооригинальной и заимствованной из Западной Европы. Был ли обусловлен этот великий интеллектуальный взрыв и утверждение новой революционной эстетики именно русским культурным опытом и национально-русским мироощущением? Многие историки искусства даже сегодня разделяют в определенной степени евразийскую теорию, видя в русском художническом гении начала века мессианское посланничество, а в художниках-пионерах — российских пророков, пришельцев-скифов, предвестников перемен. Вильгельм Воринггер, немецкий психолог, значительно повлиявший на эстетические взгляды Кандинского, говорит о "метафизическом беспокойстве северных народов", отвергающих мир реальных представлений и форм.

Другие исследователи обращаются к славянству. Для мироощущения славян, по их мнению, характерна манящая любовь к небытию, погружение в ничто, в беспрестанное бегство от реальности. Существует и так называемая "варварская теория", которая объясняет переход к беспредметности тем зияющим вакуумом в русской художественной культуре, который как бы был перенесен на холст и бумагу, дав выход беспредметным, хаотичным или же, напротив, геометричным композициям и конструкциям.

Несмотря на привлекательный национальный мистицизм подобных теорий, вряд ли они дают правильное толкование этому загадочному историческому процессу, когда в России начала века, где великих художников со времен Рублева, Феофана Грека и Дионисия почти что не было, живописец вдруг перестал писать лица заседающих в Государственной Думе и персики на столе, устланном белой скатертью, а стал рисовать какие-то странные, бредовые каракули и конструировать непонятные объекты из деревянных, металлических квадратов, проволок и труб. Трудно согласиться с тем, что великий пластический переворот можно вывести из традиционной истории русского искусства, как логический ход развития от передвижников, демократизировавших академическую живопись, к группе "Бубнового Валета" и далее к полной беспредметности.

Бесполезно искать ответа на вопрос об истоках русского авангарда в русском национальном мышлении. И так как речь идет о революции — пусть визуальной, происшедшей в годы социальных потрясений, то заманчиво видеть в русском авангарде знамение эпохи, революцию духа и формы. Но как тогда объяснить поворот к беспредметности, произошедший десятью годами позже в голландском искусстве — в безмятежной стране, отдаленной и огороженной от бурных социальных перемен, кризисов и народного бунта? И снова, волей-неволей, приходится обратиться к Европе...

Первые абстрактные композиции были созданы в 1910—1913 годы: самый первый абстракт — Кандинским, в 1910 году, в 1911 — Ларионовым, в 1912 — нерусским художником Купкой и Делане, и наконец, в 1913 году — Малевичем. Хотя русским и принадлежит несомненное право первенства, но шли рядом и европейцы, среди которых Роберт Делане — урожденный парижанин, а чех Купка с 1891 года проживал в Европе, где и учился живописи, сначала в Вене, а затем в Париже.

Более того, первые русские художники-абстракционисты именно в годы формирования их эстетических принципов жили в Европе и принимали непосредственное участие в европейской художественной жизни. Интересно, что Кандинский с 1906 года постоянно живет в Европе — то во Франции, то в Германии — и основав в Мюнхене ассоциацию новых художников, активный организатор группы "Голубой наездник", пишет свою первую абстрактную акварель тремя годами раньше, чем Малевич, который был в меньшей степени связан с европейской художественной жизнью.

Известно даже, что русский абстракционизм возникает по времени несколькими годами позже сезаннического периода кубизма. Кубизм принес жестокость, строгость форм при сохранении сюжета или объекта. Русские художники увиде-

ли, что в кубистических композициях, где формальные пластические элементы довлеют над самим предметом, фигуративный элемент становится лишним, чужеродным. Малевич откровенно говорит о том, что Сезанн и кубизм послужили отправной точкой для создания его полностью беспредметных произведений. Художник увидел и осознал, что фигура стоит как бы препятствием на пути к чистым формам. Он отверг ее, и вещь растворилась, растаяла, исчезла бесследно, как дым. Реальный мир был изгнан, и на смену отношениям между предметами пришли отношения между абстрактными линиями и формами. Кандинского стали занимать отношения между музыкальными ритмами цвета и линий, Малевича — проблемы взаимоотношений цвета и строгих геометрических форм.

Отчаянно преодолевая бремя вещей, отягощающее искусство, они пускаются в бегство от реальности, найдя пристанище в мире квадратов, треугольников и сфер. Этот визуальный мир они находят близким по напряженности и драматизму к миру старой живописи, утверждая, что влияние острого угла треугольника на круг не менее драматично, чем прикосновение перста Божьего к персту Адама на картине Микельанджело.

Европейскому кубизму никогда не было суждено достигнуть такой удивительной формальной свободы как в пластике, так и в мышлении. Предмет неустанно продолжал интересовать кубистов, и в разрушении вещи они видели меру ее познания. Метод кубизма поэтому аналитичен, тогда как абстракционизм супрематистов и конструктивистов интересует искусство синтеза, конструирования мира форм, не наблюдаемых непосредственно в реальности.

Итак мы видим, сколь сложным и взаимосвязанным был этот процесс. Русский абстракционизм, спору нет, явление автономное и самостоятельное, но, как думается, отнюдь не чисто самобытно русское. Напротив, я вижу в русском экспериментальном искусстве явление интернациональное, некий симбиоз художественных процессов объединенной Европы.

Без Сезанна не был бы возможен ни "Бубновый Валет", ни фовизм, ни кубизм, а соответственно, вряд ли была бы

возможна пластическая революция, осуществленная русским экспериментальным искусством. Несомненно, что русские, но не без содействия европейцев, участвуя в едином потоке европейской художественной жизни, на пороге нового века, обобщили предыдущую визуальную культуру, поднявшись на новый, невиданный и немыслимый уровень художественного и пластического мышления того времени.

ВЕЛИКИЙ РЕАЛИЗМ И ВЕЛИКАЯ АБСТРАКЦИЯ

Сегодня, рассматривая абстрактное искусство в едином потоке абстрактных течений, трудно узреть в нем какие-то национальные "русские", только русскому течению присущие качества. Внеобъектное искусство, сознательно разорвав с реальностью, также сознательно отказалось от национальной специфики и шовинизма.

Нефигуративный мир начисто лишен национальных признаков, а если принять во внимание современное сокращение расстояний, художественный обмен, распад государственных границ, то "славянские" теории русского авангарда становятся бессмысленными и несостоятельными. Напротив, русские, открыв модернизм как видение современного мира, мечтавшие о всеобщем интернациональном единении человечества и культуры, быть может, впервые провозгласили в искусстве космополитизм во имя торжества чистых форм. Если и позволительно говорить о русском национальном духе авангарда начала века, то это, пожалуй, применительно к манифестам и программам, которые также из области литературы и философской мысли.

Паломничество, вояж, иммиграционное передвижение — несомненно способствовали космополитизму русского экспериментального искусства. Русские авангардисты открывают путь скитаний, приведший к распространению авангардных идей и принципов во всем мире. Русские абстракционисты живут в Европе в начале века, позже некоторые из них иммигрируют, в двадцатые годы многие, даже жившие в России,

становятся преподавателями Баухауса* в Германии. Приход фашизма, как и всякий тоталитарный шовинизм, выступивший против беспредметности, космополитичности авангарда, привел к изгнанию преподавателей Баухауса из Европы. Их иммиграция в Америку способствовала развитию американского абстракционизма всевозможных направлений, а конец войны возвращает абстракционизм снова в Европу, где возрождаются свои абстрактные течения. Так укрепился современный абстракционизм, который — по пророчеству Кандинского — отделился от великого реализма, и эти два противоположных, но единых по своим целям метода, стали вести обособленную жизнь в мире современного искусства. Эти два способа видения мира постоянно вступают то в конфликт, то, напротив, соединяются в единую пластическую гармонию в истории художественных течений, равно как и в творчестве отдельных художников. Было бы несправедливо отдать предпочтение одному из них: в современном искусстве сосуществуют "великий реализм" и "великая абстракция".

"Великий абстракционизм", думается, все же наиболее тонко и глубоко, а, может, и наиболее верно передал мироощущение нашего века — эпохи великих крушений, слома и перемен. Современному мышлению и умонастроению соответствует определенный способ изображения в визуальном искусстве. Американский абстракционист Джексон Поллок, воспринимавший острее, чем его современники, болезненность и безумие века, утверждал, что искусство точно выражает время, в котором мы живем. В современном мире абстрактного искусства, лишенном каких-либо узнаваемых реальных форм, дух времени выражен так же четко и неумолимо, как и в шедеврах Ренессанса или Средневековья.

Современный мир распался, пришли в упадок и разрушились былые привычные формы жизни, связи, представления и ценности. Дух мира периода упадка символизирует центральное открытие ядерной физики — расщепление атома. Замечательно, что Кандинский связал декаданс современного мира с физическими открытиями века — и, в свою очередь,— с распадом формы в искусстве. В его сознании распад атома

*Баухаус — ведущая художественная школа авангардного направления

явился распадом мира, гда все вдруг стало нестойко, хрупко и эфемерно.

Чем кошмарнее и безысходнее жизнь, тем более отдаленным от реальности, более абстрактным, становится искусство. Недаром, видимо, периоды бурного подъема и расцвета абстракционизма приходятся на предвоенные и послевоенные периоды (Первой и Второй мировых войн).

Агрессивность, беспощадная жестокость, сочетающаяся с невротической тревогой, ужасом, беспокойством и страхом проникла в абстрактные композиции, сближая их порой с рисунками психически больных людей. Шизофрения, охватившая мир, проникла в искусство. Художник-абстракционист, рупор своей эпохи, стирая грань между искусством и судьбой, символизирует своей личной трагедией — гибелью в катастрофах и самоубийством — трагизм века.

Распалась существовавшая веками христианская модель мира, вся система художественных ценностей, и на смену великой гармонии пришел ее обломок — геометрический крест.

Сегодня деятельность художника и художество вообще стали полуабсурдными, полукомическими и уж наверняка бессмысленными, как бессмысленны в качестве предмета "Искусства" унитаз Дюшана, консервные банки Уорхола, упакованные в пластик скалы Кристо. Но заре астрологической эры Водолея, сулящей возвращение к утраченной гармонии, параллельно вновь пробуждаются фигуративные принципы, которые, может быть, придут на смену хаосу разрушения, оздоровив наш век и его искусство.

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Михаил ДЕМИН

ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА

ВОКЗАЛ

Я знал, был уверен: вокзал меня выручит, спасет от одиночества, пошлет мне кого-нибудь... И он послал. Почти тотчас же.

Когда я в зале ожидания пробирался меж пассажирами, отыскивая на лавках местечко поудобнее, меня окликнули:

— Эй, Чума! Это ты ли?

Я оглянулся и увидел Солому.

С этим человеком вы уже знакомы — я много о нем рассказывал. Он сопутствовал мне во все годы прежней скитальческой жизни. Был при самом начале воровской моей карьеры в Ростове и при конце ее, при последнем акте, на Красноярской пересылке, в крупном сибирском фильтрационном лагере. Там мы с ним и расстались. Я уходил на свободу, а он ждал нового этапа. Ему оставалось тогда, по моим подсчетам, еще года два... Очевидно, я ошибся, перепутал сроки. А может, произошло что-то неожиданное...

copyright *Михаила Демина*

Окончание. Начало см. в 35 номере журнала.

Да уж не был ли он в бегах?.. Но нет, вряд ли. Если так — он вел бы себя иначе и не выглядел бы столь вызывающе.

Он стоял посредине зала — высокий, худой, в зеленой, сдвинутой набок шляпе, в клетчатом, легком, небрежно распахнутом плаще. И был он в пунцовом галстуке, и в желтых перчатках, и в апельсиновых башмаках. И одной рукой опирался о зонтик, а другую — наполеоновским жестом — заложил за борт полосатого пиджака.

Солома отчетливо выделялся на сером фоне толпы, и она обтекала его, бурля и не затрагивая.

Я воскликнул, подходя к нему:

— Вот так встреча! Даже не верится... Ну, здравствуй. Рад тебя видеть.

— Я тоже, — сказал Солома, повесив зонтик на руку и стягивая тесную перчатку. — Привет, малыш! — Сухие, костлявые щеки его морщились, лунообразный рот улыбался. — Вот, говорят: гора с горой не сходится...

Мы обменялись рукопожатием. Я тут же спросил:

— Откуда ты? Куда?

И он ответил уклончиво:

— Проездом...

И больше я ни о чем не стал спрашивать: блатная этика не велит проявлять излишнее любопытство. Все, что можно сказать, произносится сразу. И уточнения здесь неуместны.

— Я, кстати, не один, — проговорил он. И медленно обернулся, кому-то кивнул. И сейчас же из толпы выдвинулись двое, этих я видел впервые. Столь же пестрые, разряженные, как манекены.

Они приблизились, обступили меня. Состоялась краткая процедура знакомства. А затем мы всей компанией направились в станционный буфет.

* * *

Наконец-то я сидел в тепле и среди своих. И обстановка была уютная, мирная. И на скатерти матово поблескивал

пузатый, запотелый от холода графин. И, заполняя весь столик, громоздилась еда, множество еды — розовая, в белых мраморных прожилках ветчина, слезящийся сыр, остро пахнущая копченая рыба. И всякие колбасы. И пупырчатые огурчики. И зеленые салатные кружева…

При виде всей этой роскоши у меня от голода схватило кишки, стало даже как-то муторно, нехорошо. Я ведь ничего не ел уже два дня. Да и до того долгое время жил впроголодь... И теперь я, ощутив мгновенное головокружение, потянулся к закускам, наложил полную тарелку, соорудил себе гигантский бутерброд.

Наполнив водкой стаканы, Солома торжественно провозгласил:

— Со свиданьицем!

Мы чокнулись со звоном. Выпили. И он спросил меня, собрав у глаз добродушные морщинки:

— Ну, малыш, рассказывай, как твои успехи?

— Да ничего, — отвечал я набитым ртом, — все нормально...

— Видать, не так уж нормально, — проговорил с сомнением один из спутников Соломы. И цепким, оценивающим взглядом осмотрел меня всего — помятый мой пиджачок, несвежую рубашку, изможденное, жадно жующее лицо...

Я почти физически ощутил этот его шарящий взгляд — и перестал жевать.

Нет, даже здесь я не мог себя чувствовать свободно, раскованно, как встарь. Я теперь вынужден был кривляться перед своими так же, как и перед чужими… А что мне оставалось? Я отбился от старого берега и не прибился ни к какому другому. И самое главное было теперь — не выказать слабости, скрыть свой голод... Скрыть голод — вы представляете, каково это?! Особенно, если ты за столом. И стол этот сплошь заставлен яствами, буквально ломится от них! И все тебе здесь доступно — стоит только протянуть руку…

— А ты, вообще-то, чего тут делаешь — на бану? — поинтересовался Солома, — едешь, что ли, куда?

— Нет, хотел одну знакомую встретить, — сказал я. — Журналистку… У нас с ней дела...

— Дела, значит, идут? Печатаешься?

— Да вот, начинаю.

— Здесь, в Иркутске?

— Здесь. В областной газете.

— Ну, и как же тебе плотют? — спросил другой спутник Соломы. — Можно хоть жить-то?

— Можно, — сейчас же с ухмылочкой отозвался первый. — Как на лагерной баланде, знаешь? — Жить будешь, но бабу... не захочешь! Да и чего тут спрашивать?

Он звучно икнул, провел по сальным губам ладонью. Затем извлек из верхнего кармашка пиджака цветастый платочек и, развернув, аккуратно вытер им руки.

— Чего спрашивать? Сам, небось, видишь: как его тут держат, чего ему плотют... Стоило ли ради этого бросать роскошную жизнь? Хрен на хрен менять — только время терять.

— Кончайте треп, жиганы, — сказал тогда Солома, — что вы во всем этом смыслите? — И строго из-под нависших бровей посмотрел на своих партнеров. — Ваше дело курочить замки. А литература — не про вас. Это работенка особая, тонкая, непростая... И у поэтов всегда так бывает: начало трудное, но зато потом… Я это могу подтвердить. Все-таки я, как старый онанист и ценитель Есенина, знаю, что такое творческая жизнь! Читал кое-что... Читал... И знаю этого пацана — как он сочиняет. И верю в него! Ведь не зря же вся босота — от Колымы до Черного моря — поет его песни... А это тоже что-нибудь да значит!

Он подморгнул мне весело. Взял графин, встряхнул его и точным движением разлил по стаканам остатки.

— И хватит размазывать по столу жидкую кашу. Давайте-ка лучше рванем — за фарт, за удачу! За то, чтобы фортуна улыбалась всем — и нам, и ему.

Вот какую речь произнес ростовский этот медвежатник. Хорошо он сказал, хорошо. Я посмотрел на него с благодарностью. С ним мне всегда было легко. По возрасту Солома вполне годился мне в отцы и относился ко мне с неизменной добродушной снисходительностью. При нем я как бы вечно оставался мальчиком, юнцом. И воспринимал это его стар-

шинство безропотно, вероятно, потому что оно было добрым...

Внезапно из репродуктора, висевшего надо мной, зазвучал металлический голос: "Внимание! Объявляется посадка на владивостокский экспресс, отходящий в 23.15, со второго пути... К платформе № 1 прибывает поезд, следующий по маршруту..." И тут же я спохватился, вспомнил об Ирине. И сказал, поднимаясь:

— Чуть было не забыл!.. Пойду, прошвырнусь по перрону. Надо встретить кое-кого...

Я сказал так и уловил в глазах у ребят какое-то беспокойство. Они быстро и молча переглянулись меж собой. А я осекся и мгновенно понял, в чем суть.

* * *

В чем же она? Здесь мне придется разъяснить вам кое-что. Дело в том, что мои отношения с преступным миром были вовсе не так уж светлы и безоблачны, как это может показаться. Я ведь был "завязавший", выбывший из закона.

Вообще говоря, отойти от кодлы, "завязать", по воровским правилам, может каждый. Теоретически тут нет проблем. Но на практике — их множество. И все они сложны. И чреваты тяжкими последствиями.

Очень опасно, например, покидать кодлу накануне готовящегося серьезного "дела"... И столь же рискованно уходить сразу после него. Любая неудача, постигшая блатных (провал, разоблачение), может быть тотчас же приписана "отошедшему", поставлена ему в вину.

И самое страшное здесь то, что он — будучи обвиненным в предательстве — по существу, не может уже оправдаться, начисто лишен такой возможности.

Так что лучше всего не уносить с собой ничьих секретов и тайн. А это, конечно, не просто... Ведь нельзя же, согласитесь, жить в сплошном мире тайн и не приобщиться ни к одной.

Словом, для того, чтобы уход был легок, надобно тщательно и точно выбирать момент... Мне в этом смысле повезло. Я завязал в относительно спокойное время, в период затишья. Да и к тому же произошло это в лагере. Ничьих секретов я, стало быть, не унес, никто от меня, в общем, не зависел. И опасаться меня не было причин.

Хотя — как сказать. С точки зрения блатных, сомнителен всякий, кто не входит в кодлу. И особенно тот, кто не входит в нее, но общается с нею...

Вот таковым я как раз и был сейчас для спутников Соломы. С ним-то самим все обстояло проще... Но и он тоже, я знал это отлично, случись что-нибудь, — спокойно, не колеблясь, отдал бы меня на расправу... А скорее всего, расправился бы со мной лично. Все с той же добродушной улыбкой. Как старый мой друг и учитель.

Нет, здесь сейчас мне нельзя было ошибиться ни в чем — ни в едином слове, ни в малейшем движении... Внезапный мой порыв уйти, отлучиться мог быть расценен ребятами, как некая уловка... (А может, у меня контакты с милицией? А может быть, я стучу? Кто знает, куда я действительно собираюсь идти?)

И потому я, помедлив и закурив, сказал, обращаясь к Соломе:

— Слушай, а ты не хочешь со мной, а? Это недолго... Пройдемся, покурим, еще поговорим.

* * *

Мы прошлись с ним по перрону. Покурили. Поговорили еще о моих планах и вообще о жизни.

— В крайнем случае, — сказал он, — если уж ничего не получится, не пойдет, — возвращайся к нам. Приезжай в Ростов. Я как раз еду туда.

— Нет, Солома, — проговорил я, — нет... Да и кем я теперь буду там у вас? На каких правах?

— Ну, не знаю, — поджал он губы. — Будешь при мне...

— При тебе, — я усмехнулся сумрачно. — А если тебя не станет, — что тогда?.. Нет, дружище. Я отбился от старого берега, и поворачивать назад уже поздно. Или я выплыву, прибьюсь к другому, или потону, подохну. Ну, а подохну — туда и дорога. Не жаль. Значит, не смог, не сумел, чего жалеть неудачников.

Я вздохнул, огляделся медленно. Ирины не было нигде (очевидно, я проглядел ее, пропустил), и перрон уже опустел. Только у вокзальных дверей толпились какие-то личности — все в одинаковых блестящих плащах, в серых кепках, в высоких сапогах... Надо было уходить.

— Мусоров развелось, — глухо проворчал Солома, — прямо беда!

И он загасил окурок и поежился.

— Пойдем-ка рванем еще по одной — по отходной. И я буду' отчаливать.

— Ты когда едешь?

— В двенадцать. С московским.

Мы направились к дверям. Но тут дорогу нам преградил человек в плаще. Коснулся пальцем козырька и сказал:

— Минуточку... Ваши документы? Попрошу!

Внимание его, очевидно, привлек Солома, на меня он почти не глядел...

— Пожалуйста, — спокойно отозвался старый взломщик. Отворил полосатый свой пиджак. Порылся в нем. И ленивым жестом протянул агенту какие-то бумаги.

Тот посмотрел их придирчиво. И возвратил владельцу. У Соломы все было в полном порядке. У него-то да. А вот у меня...

— Нету, — сказал я, разведя руками.

— Как так - нету? — нахмурился агент.

— Да вот так. Нету и все.

— Ага. Ну, тогда вам придется пройти, — заявил агент. И сейчас же кто-то сзади прочно взял меня за рукав.

ШЕПОТ СУДЬБЫ

— Ну, так где же твои документы?

— Не знаю... Потерял.

— А где ты, вообще, проживаешь? По какому адресу?

— Я — нездешний...

— Откуда ж ты?

— Издалека, — сказал я, стараясь выглядеть как можно наивнее (по блатному это называется "делать голубые глаза") . — Разве это важно?

— А ты этого не понимаешь? — последовал встречный вопрос. — Ай-яй... Так откуда ж ты все-таки, а?

И тогда я назвал первый, пришедший на ум город. Говорить правду было опасно; мне вовсе не хотелось наводить милицию на след.

Приведший меня агент (он сидел склонясь за столом, составлял протокол задержания) поднял голову и прищурился иронически:

— Ну, а приехал-то зачем? На гастроли?

— Да нет, просто — ищу работу.

— Ищешь работу... Ну, ясное дело! Ты вот что скажи... — Он подался ко мне, помедлил несколько. И потом: — Того человека, с которым ты был на перроне, ты хорошо знаешь?

— Н-нет. Вовсе не знаю.

— А что же вы вместе делали?

— Ничего... Разговаривали.

— О чем же?

— Уж и не помню. О погоде, о бабах.

— Вот так вот запросто с незнакомым?

— С незнакомыми только и говорят о погоде да о бабах, — ответил я, глядя на агента честными голубыми глазами. — О чем же еще?

— Конечно, конечно. Но с незнакомыми все же не проводят весь вечер за одним столом в буфете... Как ты объяснишь эту деталь?

— Да при чем здесь какие-то детали? Вы мне скажите, что вам, в принципе, нужно? Чего вы добиваетесь?

— Немногого... Хотим знать: куда он едет, каков его маршрут?

— Этого он мне не сообщил, А я не спрашивал — уж, извините.

— Помочь нам, значит, не хочешь, — задумчиво проговорил агент. — Что ж, пеняй на себя... А теперь подпиши-ка этот протокол. — Он небрежным щелчком перебросил через стол бумагу. — И, кстати, попытайся ответить еще на один вопрос... Как это так — документов у тебя нет никаких. И нет ни жилья, ни работы. И вид затрапезный, жалкий, а денег при обыске обнаружено много? Откуда они?

— Понятия не имею, — пожал я плечами.

— Они, очевидно, свалились сами, с воздуха?

— Да, пожалуй, что так...

Вот это я сказал вполне искренне! Я и в самом деле не понимал, каким это образом в левом кармане моего пиджака очутилась вдруг плотная пачка сотенных? Для меня это явилось полной неожиданностью. Скорее всего, ее украдкой сунул туда Солома. Скорее всего. Но почему же украдкой? Может быть, потому что он не хотел меня обидеть: он ведь знал мой характер...

Укладывая подписанный протокол в папку с надписью "Дело № 80-63", агент сказал:

— Изъятая сумма наводит на некоторые размышления. Четыре тысячи новенькими купюрами, в банковской упаковке — у такого бродяги. Это серьезно... Наверняка, деньги похищены.

— Ну, это еще надо доказать, — возразил я понуро.

— Конечно, надо! — подхватил агент. Он произнес эту фразу нараспев, почти с восторгом, выделяя и акцентируя слово "надо". — Обязательно надо! Еще бы! Но это — несложно. Мы просто подождем, когда поступит заявление от потерпевшего... И вот тогда...

— Ну, а если никаких заявлений не поступит? — сказал я, — сколько вы, вообще, намерены меня держать?

— А сколько потребуется! — Собеседник мой улыбнулся, обнажая крупные желтые лошадиные свои зубы. — Тут мы

ничем не ограничены. Ты у нас засел прочно, надолго. Пока установим твою личность, пошлем запрос в центр, получим ответ — воды утечет много.

* * *

Все повторяется, — думал я, входя поздней ночью в камеру. И с каждым разом — все хуже, все губительней и безнадежней... И если в Москве у меня еще были хоть какие-то шансы, то теперь уже надеяться не на кого и не на что. Я пойман. Я крепко пойман. И, в сущности, почти приговорен. Ведь личность мою они так или иначе установят и узнают, что я успел уже трижды нарушить закон. Да и, кроме того, эти деньги... Милиция будет ждать теперь заявления о пропаже. Ну, а вдруг заявление поступит? Вдруг у кого-нибудь и вправду в тот вечер тяпнули гроши? Такое всегда может случиться: вокзалов без жуликов не бывает! Или — еще страшнее... Солома-то ведь по специальности медвежатник. А пачка эта — в банковской упаковке. Что, если он, не дай Бог, колупнул какую-нибудь кассу? И дело вскоре раскроется? Тогда уж мне ни в жизнь не оправдаться. Никогда не доказать, что я здесь человек случайный... И чего меня понесло на этот вокзал? Но, с другой стороны, куда ж мне было сироте деваться? И откуда ж мне было знать, что все идет по такой крутой спирали?

— За что тебя? — спросили меня урки.

— Да так... Не повезло, — отвечал я туманно. — Сами знаете, братцы, как бывает, когда нет везения.

— Знаем, — позевывая в кулак, проговорил мой сосед по нарам, плосколицый и узкоглазый — по кличке Хан Батый. — Дело известное... Если уж не повезет — на родной сестре триппер поймаешь!

* * *

Вот так начались мои арестантские будни. Я сидел в отделении железнодорожной милиции до выяснения личности, в тюрьму меня пока не переводили... И всю следующую неделю регулярно вызывали на допрос. Снимали отпечатки пальцев, фотографировали в анфас и в профиль, подробно описывали "особые приметы" — все мои наколки и росписи...

Когда я "играл на рояле" — давал снимать оттиски — я подумал вдруг: а может, сказать им, что документы мои в гостинице? Прекратятся хотя бы все эти тягостные процедуры... Но тотчас же я сообразил: нет, признание теперь ничего уже не изменит, пожалуй, только ухудшит. Увидев мой сомнительный паспорт, они сразу же во всем разберутся — и колесо завертится еще быстрей. А так у меня в запасе есть хоть какое-то время... И милиция все-таки это еще не тюрьма. Тут проще, тут ближе к воле.

На что я рассчитывал? Трудно сказать. Может быть, на какую-нибудь ошибку властей, на внезапную перемену... Не знаю, не знаю. Но в нашей жизни часто так бывает: в преддверии перемен мы как бы слышим некий странный голос... Звучит он по-разному. Иногда это колокол, иногда это шепот. Но всегда это сигнал — предупредительный и мгновенный. И вся беда в том, что мы, как правило, не можем его сразу оценить и понять. Громовой колокольный удар зачастую ввергает нас в смятение, пугает... А торопливый шепот судьбы мы попросту не успеваем расслышать.

И вот теперь, ничему уже, в сущности, не веря, я все-таки ждал какого-то сигнала, боялся его упустить.

Ждал, когда грянут колокола... И услышал ночной, торопливый шепот.

* * *

Шептались двое — мой сосед Батый и другой, лежащий поодаль.

— Завтра банный день... Но поведут нас не в тюремную баню, а в простую, общую — как раз возле вокзала.

— Почему? — спросил Батый. — Что случилось?

— Да понимаешь, тюрьма и пересылка сейчас переполнены, пришли три новых больших этапа...

— Откуда ты это узнал?

— Знаю! Все точно! Мне одна знакомая шалава сказала — из третьей камеры, где проститутки сидят... Да ты ее видел. Она обычно полы в дежурке моет.

— Ага, ага, — забормотал Батый, — так, так, так... Ах, ты, черт возьми, вот это новость! Значит она...

— Да. Все слышала. Там, в дежурке, лягавые при ней суетились, звонили куда-то.

— Когда ж она тебе об этом сообщила?

— Да нынче, во время оправки. Помнишь, мы задержались в коридоре? Ну вот... Табачок еще пульнула... — Послышалось шуршание, возня, хруст рвущейся бумаги. — Закуришь?

— Давай.

И тут я сказал, приподнимаясь на локтях.

— Дайте-ка и мне попробовать, что это за табачок из блядской камеры? Каков он на вкус, на запах?

— Так ты не спишь, оказывается? — поворотясь ко мне и протягивая кисет, проворчал Батый.

—Нет.

— И все слышал?

—Да.

— Ну, и... Что думаешь? — Раскосые, в припухших веках глаза его сузились, превратились в неразличимые щелки.

Я сказал, свертывая толстую папиросу:

— Что ж, ребята. Такой случай выпадает один раз в сто лет. И упускать его нельзя. Мне — во всяком случае... Может, хоть теперь, наконец, повезет?! Но, разумеется, надо все заранее обдумать, взвесить.

— Вот, вот, — отозвался Батый. — Тут промахиваться нельзя. И у меня есть один план...

Он поманил меня пальцем, и я придвинулся. И потом, тесно сгрудившись, мы долго лежали, обсуждая детали. Блатные

не боялись меня: они ведь не были знакомы с моей биографией и приняли меня, признали по внешним, так сказать, признакам. Основную, решающую роль сыграли здесь мои манеры, лексика, общий профессиональный стиль — он был отчетлив и безупречен, и к тому же у нас, как и всегда и всюду, — сразу же нашлось немало общих знакомых...

Мы лежали, покуривая, в самом дальнем, темном углу камеры, и Батый шептал:

— Конечно, раз эта баня нормальная, вольная, будет усиленный конвой. На рывок не уйдешь, нужна хитрость... И мне, я думаю, подсобит один корешок. Он как раз работает в этой организации.

— Это что ж за организация? — поинтересовался партнер Батыя — белобрысый и жилистый парень, носящий прозвище Сверчок.

— Банно-прачечный комбинат, — весело ответил Батый. — И человек мой работает там электриком. Усекаете, братцы? То-то. Теперь вот надо как-то ухитриться послать ему ксивенку, предупредить...

— Ну, это-то я сделаю, — пообещал Сверчок, — утречком. Через мою шалаву. Ее как раз завтра выпускают.

— А твой электрик, он вообще-то надежный? — поинтересовался я. — Ты ручаешься?

— Ручаться можно только за мерина и за печь, — сказал Батый, — печь не уведут, а мерина... — он усмехнулся, — беременным не сделают... За кого в наше время можно ручаться? Но вообще-то я его давно знаю. Он старый барыга. И мне кое-когда помогал, толкал темные тряпки. А теперь я ему должен остался. И должок немалый... Так что помочь мне — прямая выгода. Ему, ка-а-нечно, куда интересней видеть меня вольным, а не запертым.

— Но что же он сможет? — проговорил в задумчивости Сверчок.

— Это электрик-то? — хохотнул Батый. — Да все! Не понимаешь? Все!.. Дал бы только Бог, чтоб нас повели ночью.

ПОБЕГ

Нас повели ночью.

Здание бани громоздкое, повитое мглою, было сплошь оцеплено стрелками. И в вестибюле, и в предбаннике, — там, где мы раздевались, — тоже толпилось множество охранников. Я сказал растерянно:

— Ого, да тут целая армия. Трудновато будет, пожалуй...

— Ерунда, — дохнул мне в ухо Батый. — Не тушуйся! Ты только раздеваться не спеши, тяни до последнего... Понял? А когда начнется, рви по коридору налево, к дверям котельной. Помнишь план?

Я помнил план. Он был разработан весьма тщательно. Здесь нам крупно помогла подружка Сверчка. Глуповатая на вид, бабенка эта проявила редкостную активность и расторопность... Выйдя на свободу утром, около девяти, она уже в обед принесла передачу, и там мы обнаружили записку электрика и схему здания, начертанную им на клочке тончайшей папиросной бумаги.

В соответствии с планом через полчаса после нашего прихода в баню повсюду сразу отключился свет. И мы, под покровом темноты, должны были прорываться в котельную. А оттуда — во внутренний двор. За ним находился овраг, и туда вела широкая труба для ливнестока — дюкер. Ну, а дальше начиналась путаница складских помещений, пакгаузов. И в том районе мы уже были бы в безопасности... На всякий случай, — сообщал электрик, — он приготовил для лягавых еще один сюрприз... Так что главное заключалось в том, чтобы не оплошать поначалу, не сорваться, не ошибиться в самый первый момент.

* * *

Все, в общем, получилось точно. Внезапно возникшая тьма породила панику. Заметались смутные фигуры. Чей-то хриплый, сорванный голос завопил протяжно: "Слушай мою

команду! Перекрывай выходы!" но было уже поздно: мы трое успели проскользнуть в коридор.

Спустя минуту мы находились уже в дюкере — в недрах широкой бетонной трубы. Здесь пахло сыростью и гнилью. Звучно сочилась влага. И темнота была тут особенно плотной, густой, почти ощутимой на ощупь.

Вдруг она ослабла и поредела. На бетонных вогнутых стенах, освещая потеки грязи, заплясали жидкие желтые отблески.

Сверчок, он шел последним и был ближе всех к краю трубы, воскликнул шепотом:

— Братцы, а ведь баня-то горит!

— Ага, — широко улыбнулся Батый, — вот он — сюрприз! Что ж, это толково придумано, грациозно. Теперь уж мусорам не до нас...

— Но все равно застревать здесь рискованно, — заметил я, зябко поеживаясь. (Я ведь был раздет до пояса, а пиджак и рубашку держал туго свернутыми под мышкой.) — Давайте-ка приведем себя в порядок и отваливаем — рвем когти!

Я быстро оделся. Затем мы осторожно выбрались в овраг. И вскоре были уже далеко от горящей, рушащейся бани. Там клубился розовый дым, раздавалась пальба... Может, искали нас? Или кто-нибудь еще воспользовался случаем?

На тихом пустыре, за пакгаузом, группа наша разделилась. Блатные пошагали в город, а я — в противоположную сторону. Нет, с ними мне было не по пути…

Какое-то время я брел вдоль железнодорожного полотна — покуривал, ждал попутного поезда. Ночь была тиха, безоблачна, вся в лунном серебре. Пахло землей и мазутом. Холодно поблескивали рельсы. Их было много здесь, в "полосе отчуждения", они переплетались и скрещивались, и напоминали сверкающую лапшу.

И вот в отдалении возник силуэт локомотива. Вспыхнули, приближаясь, огни. Звенящий гул прошел по вздрогнувшим рельсам.

Это был товарный состав — порожняк. И двигался он не шибко, только еще набирал скорость. Я отшвырнул окурок, примерился. Вскочил на подножку открытой платформы. И вдруг увидел краем глаза стелющиеся по земле голубоватые искры…

— Что это? — удивился я, повиснув на поручнях, — неужто и здесь тоже пожар?

Но нет, это просто вспыхнул подожженный моей папиросой последний тополиный пух... Вспыхнул и тут же погас. Сгорел дотла, без остатка, так же точно, в сущности, как и все мои нынешние надежды и планы.

* * *

На полустанке, когда поезд притормозил у семафора, я украдкой перебрался в соседний пустой "телячий" вагон. И мимоходом успел подслушать разговор двух кондукторов. Состав, оказывается, гнали в Красноярск. Маршрут подходил мне, годился. И я решил весь этот путь (он, кстати, был недолог — всего лишь сутки езды) провести, отлеживаясь в вагоне, затаясь, укрывшись от греха...

Показываться на глаза людям я боялся: меня ведь могли искать... Ах, я всего боялся в тот момент. И возможной погони, и каких-либо новых случайностей.

И покуда поезд полз по восточно-сибирской равнине, пока он посвистывал и гремел, наматывая на колеса версту за верстой, я лежал во тьме и все думал, думал. Думать было о чем.

Третья моя попытка не удалась, и я знал теперь, что предпринимать четвертую уже просто нельзя. Это будет слишком опасно. В следующий раз я наверняка вляпаюсь в такую скверную историю, из которой мне потом уже вовсе не выбраться. То, что случилось, это еще цветочки — ягодки впереди... Я ведь все время иду по спирали, и она закручивается все туже и туже… А это неспроста! Судьба, очевидно, сулила мне совсем иной путь — прямой. И прямой этот путь — тот самый, от которого я так упорно уклоняюсь, путь в ссылку, в тайгу.

Что ж, быть по сему. После трех последовательных поражений спортсмен, как правило, сходит с круга, выбывает из игры. Видать, и мне пора опомниться, забыть свои бредни, отречься от них и начать простую, безыскусную жизнь. Профессиональная литература — не мой удел. Это бесспорно. И будь она проклята, коли так. Будь проклята она — и бабы тоже!

"Поразительное дело, — размышлял я, валяясь на шатких, скрипучих, вагонных досках, — почти все мои неудачи так или иначе связаны с ними — с бабами! Вечно из-за них мне приходится срываться с места, бежать... Таежную экспедицию я покинул из-за Анны, жены начальника. Из Москвы уехал по вине Наташи — в связи с ее предательством. А здесь, в иркутской истории, роковую роль сыграла Ирина.

В самом деле, не вскрой она самовольно этого письма, все бы, наверное, сложилось иначе, пошло бы по-другому. Да и на перрон я приплелся из-за нее, из-за нее! И не нашел ее там, не встретил — почему? Может быть, она испугалась, слукавила, не захотела больше связываться со мной?"

Ее я не нашел... Но зато встретил вокзального агента.

И все-таки при мысли о ней я испытывал не гнев, а, скорее, какое-то недоумение, чувство растерянности. Как же так получилось? Ведь что-то же у нас намечалось, что-то брезжило поначалу. И ничего не вышло. Ничего. Все кончилось. А жаль.

Струна, запевшая когда-то, теперь вдруг оборвалась. Она оборвалась — но остался какой-то отзвук, смутное эхо... И незаметно, под частый, четкий перестук колес дребезжащая эта грустная нота стала обретать размер, воплощаться в стихотворные ритмы.

* * *

Я вот сказал: от профессиональной литературы я отрекся, проклял ее. Это правильно. Я отрекся всерьез. И долгое время оставался верен своей клятве... Но что же мог я поделать с самим собой, с неистребимой тягой моей к сочинительству?

Ведь отказаться от себя нельзя, невозможно. Да я вовсе и не хотел отказываться... И тогда, в товарном вагоне, как-то непроизвольно, легко, стали у меня рождаться стихи. В них снова ожил тополиный город, проступила из тьмы Ангара и старый мост над ней...

В дороге наметились лишь отдельные, разрозненные строфы. В целом же эта вещь созрела и оформилась позже... И пройдут годы. И мы опять случайно встретимся с Ириной. И она — совсем уже увядшая, беловолосая — спросит меня, печально кутаясь в платок: "Куда ж ты исчез в тот вечер? Понимаешь, все тогда неожиданно изменилось, и я на вокзал вообще не пошла. Сидела допоздна в редакции, звонила тебе... И ждала твоего звонка. Думала, ты догадаешься, где я. И на следующий день мы вместе с редактором ждали, что ты придешь, появишься... Но ты пропал. Как в воду канул... Ах, ты все время со мной хитрил — с начала и до конца!"

И затем, зажмурившись и словно бы плача беззвучно, она будет слушать эти стихи... Папиросы, Диккенс, крепкий чай. Тишина. А за окном ненастье. В форточку, распахнутую настежь, хлопья залетают невзначай. Снег валит. И вдруг, сквозь свет лиловый, возникает город тополиный. Много лет прошло, а вот, поди же, до сих пор я мост иркутский вижу! В хлопьях белых, в тополиной вьюге, сколько раз стояли мы вдвоем. Говорили — каждый о своем. Думали упорно друг о друге... Ветер был. Он бился о железо. Воду волновал у волнореза. И была тревожно-холодна и ясна ангарская волна... И бела была твоя рука. Пухом опушенный у виска, снежным нежный завиток казался. Ты сказала: "Позвоню с вокзала". И ушла. И не было звонка. Вот мне и остались по ночам — папиросы, Диккенс, крепкий чай. Что еще? Тот мост, твои слова... Ты ушла... А может, ты — права? И лицом прижавшись к мокрому стеклу, именем твоим я окликаю мглу.

БЕЛЫЕ КЛЮЧИ

В Абакане — пыльном деревянном степном городе — я сразу же, не раздумывая, направился в Управление Внутренних Дел.

Городок этот представлял собой административный центр Хакасской автономной области, и здесь, таким образом, были сосредоточены все правительственные учреждения. Имелись тут, между прочим, и областное издательство, и редакция газеты "Советская Хакассия". Проходя по центру города, я увидел пышную вывеску с названием газеты... И отвернулся. Не захотел даже смотреть на нее! И удалился, не дрогнув и не замедлив шага, лишь суеверно, трижды плюнул через плечо.

Метания мои кончились. Я шел теперь — по прямой!

* * *

В Управлении меня, оказывается, уже ждали.

Пожилой, весь какой-то высохший, с худыми, запавшими щеками, майор (я тотчас же мысленно окрестил его "скелетом") сказал:

— Где же ты болтался, а? Телефонограмма из Москвы пришла почти месяц назад. И с тех пор мы ждем... Что случилось?

— Да так... Не повезло, — начал я, по привычке, — сами знаете, как бывает... — Но тут же я сообразил, что эта стандартная фраза выглядит здесь нелепо. И, переведя дух, добавил быстро: — Со мной, собственно, что произошло? Я, понимаете ли, заболел в дороге. Сильно заболел. И валялся все это время у каких-то чужих людей... И... да! И тогда же потерял все свои вещи и документы.

— Потерял документы? — недоверчиво переспросил Скелет, — все вещи? Это ты-то, старый поездной вор?

— Во-первых, я уже не вор, — воскликнул я, — а во-вторых, ...ну, случилось так... Судьба! — (вид у меня при этом был обиженный, и глаза — ярко-голубыми!)— В конце-концов, каждый ведь может заболеть, свалиться, попасть в беду... Я не живой человек, что ли?

— Ладно, — сказал Скелет. И костлявой своей ладонью хлопнул по столу, по пачке бумаг, — это все пустяки. Главное — что? Главное — то, что ты, наконец, появился! Еще бы недельки две ты вот так "проболел", и нам пришлось бы объявлять республиканский розыск. А что это значит, ты сам, надеюсь, понимаешь!

Так мы с ним потолковали недолго. Потом он подошел к висящей на стене карте области.

В центре карты размещалось большое желтое пятно: оно обозначало степь. А по сторонам, заполняя все оставшееся пространство, простиралась сплошная зелень тайги, испещренная горами, ручьями и реками. Самой крупной водной артерией Хакассии был Енисей. Притоком его — речка Абакан. А в нее, в свою очередь, впадал извилистый, путаный Аскиз, берущий начало в верховьях Саянского хребта... Я рассматривал все это с интересом; здесь мне теперь предстояло жить. И кто знает, сколько? Может быть, весь остаток своих дней?

Видит Бог, картина мне эта, в общем, понравилась. Она была живописна — Хакассия! Она была велика! Судя по масштабам, обозначенным на карте, территория ее превышала Швейцарию. Одним своим краем на севере она граничила с Красноярским краем, а другим, на юге, почти вплотную примыкала к Монголии. От монгольских границ ее отделял узенький (в двести километров) кусочек гористой Тувы.

Скелет сказал, искоса глянув на меня:

— Ты как, вообще-то, намерен серьезно жить, правильно? А? Без фокусов?

— Конечно, — сказал я, — именно так.

— Хочешь все начать по-новому?

—Да...

— Ну, тогда я думаю предложить тебе вот этот вариант... Гляди!

Узкий сухой его палец скользнул вдоль ниточки Аскиза и уперся ногтем в очертания Восточно-Саянского хребта, в самое сердце водораздела.

— Вот тут, в селе Белые Ключи, есть леспромхоз. Он молодой, только недавно образовался... Так что все у тебя будет теперь новое.

Хакассия мне, конечно, понравилась, но все же район, выбранный Скелетом, выглядел очень уж диким, глухим. В самом сердце водораздела! Это было уже слишком… Случилось как раз то, чего я опасался с самого начала; меня упрятывали далеко, надежно. Отрезали от мира напрочь.

— Все для твоей же пользы, — сказал Скелет. — Учти! Только для этого… Поживешь в горах, на природе, в стороне от соблазнов, поработаешь лесорубом, может, что-нибудь из тебя и получится.

— Может быть, — проговорил я устало. Я был на пределе, и едва держался на ногах, и уже плохо соображал — что к чему… Сказывались недавние волнения, тревоги, голод. — Делайте, как хотите. Отправляйте, хоть в преисподнюю... Я разве спорю?

— И хорошо, — покивал Скелет, — и правильно. Спорить с нами не надо. Это к добру не ведет.

* * *

Белые Ключи оказались довольно крупным селом, расположенным в долине Аскиза и окруженным пологими, поросшими тайгой горами. Местность здесь напоминала бушующее море; горы вздымались и опадали, и уходили чередуясь за горизонт, словно зеленые волны. И клубящийся по вершинам туман был, как морская пена. И ветер нес оттуда несмолкаемый рокот и гул.

В долине обитали староверы, иначе именуемые — кержаками. Секта эта давняя, родившаяся еще при Петре Первом, во время раскола. Отделившись от Никонианской, обновленной церкви, приверженцы старой веры ушли тогда в леса и

поселились на реке Керженец (отсюда и название — кержаки) . А затем, скрываясь от преследований, двинулись дальше, перевалили через Урал и, наконец, осели в Сибири, в самых диких, труднодоступных местах.

Между прочим, в этой азиатской глуши было несколько старинных русских сел, и — вот любопытная деталь! — каждое из них принадлежало какой-нибудь религиозной секте.

Имелась, например, секта скопцов — кастратов с бабьими голосами и пухлыми лицами. Они стерилизовали себя во имя Господа нашего и ради спасения души и избавления от первородного греха.

Эта компания была сугубо мужская… Хотя — как их, собственно, назвать мужчинами? Лишившись главного своего признака, лишившись пола, они утратили многое… И единственная страсть, оставшаяся у них, была страсть к наживе, к накоплению. Скопцы жили крепко, богато, расчетливо. И славились в тайге, как самые ловкие спекулянты и беспощадные ростовщики.

Существовали также хлысты. По сравнению со скопцами они являли собой полную противоположность. Суть их веры заключалась не в отрицании секса, а, наоборот, в самом активном его "применении". Сборища их происходили в особых тайных помещениях, лишенных окон. Мужчины и женщины подбирались в равной пропорции. И сначала они творили молитвы, а потом начинали истязать себя, бить хлыстами, винясь перед Богом и бичуя грешную плоть... Постепенно верующие впадали в транс. Затем свет гасился, и начиналась всеобщая свалка, экстаз, групповая "любовь", именуемая на языке сектантов — радением.

"Радеть" на старорусском языке значит "стараться"… Вот так они "старались" все ночи напролет. И дети, неизбежно появляющиеся в результате общих радений, считались уже детьми Бога. На земле они официальных отцов не имели… Да ведь и легко ли было разобраться, кто с кем в этой безумной свалке и в абсолютной тьме?!

Были в Хакассии и другие секты, например, — пятидесятники, адвентисты, молокане. Но, пожалуй, самыми своеоб-

разными — неожиданными для меня! — оказались общины, исповедующие иудаизм.

Они образовывались уже в нашем веке незадолго до революции. В ту пору, как известно, нередко вспыхивали волнения среди обнищалой части российских крестьян. И вот некоторые из них, протестуя против социальных несправедливостей, отреклись от православия, демонстративно приняли чужую религию и переселились на Восток. В здешней местности имелось два таких поселения, и оба они именовались одинаково — Иудино.

Сибирские иудеи производили странноватое впечатление. В самом деле: представьте себе угрюмого лесного мужика с медвежьим голосом и широким, простецким, типично славянским лицом, который носит библейское имя Соломон, ходит в традиционной ермолке и отращивает неряшливые, никак не вяжущиеся с его обликом пейсы. Который хлещет водку лихо, по-сибирски, но закусывает только "кошерной", обескровленной курочкой. Имеет истинно русскую душу, но чтит субботу и выполняет все еврейские ритуалы вплоть до обрезания.

Наиболее многочисленной и разветвленной группой во всем этом сонмище являлись, конечно же, кержаки. Они проникли в тайгу раньше других, пустили более глубокие корни. Они были сплочены, суровы и фанатичны. И хранили, помнили старые вековые традиции. (А традиции эти известны. Когда-то их далекие предки, обороняясь от властей, сжигали себя в лесных погостах, на Повенце и на Керженце. И этот запах человечьей гари стоял надо всей петровской эпохой.)

Они не признавали новшеств — крестились, как и встарь, двумя перстами. И не курили: видели в табаке бесовскую траву "Никоциану". И не пили кофе. "От кофе на душе — ков", — вещали они. А ведь "ков", по-старинному, это оковы, кандалы! И чай они тоже не пили: "Кто пьет чай — отчается". И заваривали брусничный или смородиновый лист.

И была в здешних краях какая-то особая, тайная тропа кержаков — "Мирская тропа". О ней окрестные жители говорили с опаской; у нее была недобрая слава... Она вела за Саянский хребет, за туманные вершины Ала-Тау. А начиналась тропа эта возле Белых Ключей.

Я жил на самом краю села; новые дощатые, наполовину еще пустые бараки леспромхоза стояли за сельской околицей.

В селе находилась, так сказать, старая Русь... А здесь — за околицей — новая. И основным контингентом ее являлись ссыльные и вербованные.

В бригаде лесорубов, где я теперь трудился, представлены были все социальные прослойки. Причем, каждая по паре, как в Ноевом Ковчеге.

Тут имелось двое вербованных: бригадир Федя, приехавший из-под Москвы, и веселый гитарист Пашка — из Одессы. Пара бывших лагерников — я сам и некий Костя Протасов. Двое сектантов, ушедших из своих общин, иудей Соломон и кержак Иннокентий (в просторечии — Кешка).

Было также и несколько пар туземных жителей — хакасов и тувинцев, однако, с нами они не смешивались, держались замкнуто и жили в стороне...

Мы же, россияне, все помещались в одном бараке, но, так как места было достаточно, каждый в своей отдельной каморке.

Наша жизнь, как мозаичное панно, складывается из бесчисленного множества мелочей и деталей. Одни из них забываются со временем, другие, наоборот, проступают выпукло и особенно четко врезаются в память. Вот теперь я вспоминаю период ссылки и вижу очень мало деталей, окрашенных в яркие, летние, солнечные тона. Два главных цвета владычествуют в этой мозаике: черный и белый... Белый снег и черная тайга.

Я бродил, увязая в сугробах, и рубил тайгу, и уставал, и мерз — ах, как я мерз бывало! — и нелегко было мне привыкать к этому лесорубному быту. Но постепенно я все же привык, втянулся, вошел в колею.

Колея эта шла, в общем, ровно, без крутых поворотов и неожиданностей. И если случались в ту пору приключения, то, в основном, только с женщинами.

С ними было у меня, в принципе, то же, что и с литературой; я ведь отрекся от нее, но бросить, как видите, не смог! И женщин я проклял когда-то. И правильно проклял, за дело. Но куда же мне было деваться от них, проклятых? Куда, вообще, от них денешься? Они ведь часть нас, вторая, так сказать, половина, и если половина эта, зачастую, плоха, что же делать?

Короче говоря, мне не везло с ними — как раньше... Был момент, когда я переселился из барака в село. Но вскоре вернулся. Не смог ужиться с одной таежной красоткой. Она оказалась весьма странной: любила, чтоб ее лупили... И когда на нее накатывала такая волна, она становилась невыносимой: придиралась к каждой мелочи, дерзила. А затем, если я оставался невозмутимым, попросту начинала хамить... Ну, меня спровоцировать вообще нетрудно — я взрываюсь легко и с грохотом. И обычно, после каждого такого взрыва, она мгновенно успокаивалась, обмякала. И, нежно поглаживая ушибленное место, говорила с какой-то сытой, медленной полусонной улыбочкой:

— Ну, вот, ну, вот. Я же знала, что так будет; не зря ведь мне нынче ночью ягоды снились... Это всегда к слезам.

И потом с удвоенной энергией хлопотала по дому, становилась крайне заботливой, ласковой.

Но я не хотел таких ласк, не нужны мне были клинические зигзаги, совсем другого искал я в женщинах. И, спустя небольшое время (уйдя от нее), нашел кое-что стоящее, как мне показалось...

Нашел в одном из соседних бараков, в общежитии ссыльных.

* * *

О ссыльных я уже говорил... Я ведь сам принадлежал к таковым! Общество это было, однако, неоднородным; помимо "бытовиков" (таких же, как и я), здесь в изобилии имелись политические. И они, в свою очередь, делились на разные

категории. Были, например, сосланные навечно. Были такие, что имели определенные, как правило, пятилетние сроки. Большинство сюда прибыло из сибирских тюрем и лагерей. Но имелись также "спецпереселенцы", по этапу пригнанные из Украины и Прибалтики — из Эстонии, Латвии, Литвы... Здешняя тайга оказалась вместительной — в ней нашлось место многим языкам и народам!

Жители Прибалтики, обвиненные, в основном, в "национализме", ссылались по большей части, семьями. Их подрезали, так сказать, под самый корень... Но меж ними попадались и одиночки — студенты, молодые специалисты. И вот такой как раз и была новая моя подруга Регина. Она училась в Вильнюсском текстильном техникуме, была затем отправлена в соседний город на практику, и там-то ее и взяли. Взяли не одну. (По сталинскому рецепту, всюду стряпали тогда групповые дела!) В том цеху, где проходила она практику, были, преимущественно, девушки. И вот теперь они, все вместе, трудились в тайге, в подсобной бригаде, на обрубке сучьев. И жили в одном шумном, женском бараке.

Барак был знаменитый! Сюда захаживали ребята отовсюду — из нашего леспромхоза, из села, из окрестных мест. Неподалеку, кстати, находилась крупная стройка, где прокладывалась железнодорожная трасса Южсиба, и оттуда тоже подваливало немало клиентов.

Заглядывал в это общежитие и я, разумеется... Однажды, в воскресных сумерках, я вдруг заметил мелькнувшую в толпе, у барака, знакомую, изрытую, плоскую физиономию. Физиономию Рашпиля! (Того самого, который, помните, в Красноярске, на воровской "малине", отнял мои вещи.) "Не дай нам Бог встретиться", — сказал я ему тогда... Сказано было серьезно, память на обиду у меня безупречная! И, мгновенно вспомнив все, я кинулся за Рашпилем вдогонку... Но не нашел его, не увидел и решил, что обознался. Да так это, наверное, и было! А потом я и вовсе отвлекся...

Я отвлекся потому, что в ту самую пору как раз и начинался мой роман с Региной.

На нее я обратил внимание сразу, при первой встрече. Стройная, рыжеволосая, с длинными, яркими, зелеными гла-

зами... Но главное все же заключалось не в этом. Не только в этом. Регина выглядела на редкость скромной, покладистой, какой-то очень тихой — вот в чем была вся суть — тихой!

Среди нынешних "курочек" такие встречаются редко. И я воспринял ее, как подарок. Как подарок судьбы. И поначалу умилялся — я ведь всю жизнь ищу тихий вариант, именно — тихий!

Но потом постепенно меня начало кое-что тяготить. Скромность ее показалась мне чрезмерной. Несмотря на всю ее покладистость и покорность, она — странное дело! — никак не хотела сближаться. Не шла на это... А когда я пытался настаивать — ловко выворачивалась, ускользала из рук.

И как-то раз, разгоряченный и взвинченный, я сказал:

— Что все это значит? Потолкуем всерьез. Я еще мог бы тебя понять, если бы ты была девушкой. Но ты ведь уже имеешь опыт, сама говорила, кое-что повидала, вкусила... Правда?

— Правда, — вздохнула она.

— Ну, так в чем же дело? Чего ты боишься? Или, может, просто не любишь и потому...

— Ах, вовсе не потому, скорее наоборот!

— Но, черт побери! Тогда, что же?

— А тебе так уж это нужно? — быстро задала она встречный вопрос.

— Конечно, — ответил я.

— Все вы мужчины такие, — пробормотала Регина, — ищете одно...

Она умолкла на миг, задумалась. И потом:

— Послушай... В конце концов, если тебе уж невмоготу, если уж такой твой темперамент, подыщи на время другую девочку.

— А... ты? — растерялся я.

— А я, что ж... Я согласна. Могу даже сама помочь подыскать. И ревновать не буду.

— Что-о? — сказал я грозно, — ты, значит, согласна! И ревновать, значит, не будешь! И еще осмеливаешься говорить мне о любви. Ну, знаешь, это уж слишком.

Мы поссорились в тот вечер. Выпив водки и распалясь, я нагрубил ей, раскричался, и она ушла, прикрыв ладонями лицо, неловко споткнувшись на пороге.

Несколько дней после этого я выдерживал характер, не навещал ее, не звал. А когда, наконец, соскучился и явился к Регине, было уже поздно. Она исчезла. Исчезла бесследно. И больше я никогда уже ее не встречал.

А потом в лесу, у костра, я случайно разговорился с одной из ее подружек. И тогда-то лишь понял все.

— Дурак, — было сказано мне, — она тебя действительно любила. По-настоящему!

— Не верю, не похоже, — забормотал я, — если так, зачем же она устраивала комедию, подсовывала мне других?

— Да потому, что она не могла с тобой спать. Она же больна.

— Больна? — повторил я, вздрогнув, как от удара. — Чем больна?

— Ну, чем? — повела бровью девушка, — тем самым... Не понимаешь, что ли?

— Где же это она подхватила?

— Не знаю. Наверное, уже здесь. И она недавно только начала лечиться, но тебе не говорила. Боялась. Ах, с тобой она всегда боялась. И мы ее жалели: лежит ночью, и плачет, и плачет. Был момент, когда она даже замену для тебя подыскала, чтоб ты не нервничал. И знаешь, кого она для тебя предназначила?

— Кого же?

— Меня, — сказала девушка. И улыбнулась, обнажая мелкие, кривые, съеденные зубы. — А я была согласна! Почему ж подружке не помочь? Да и вообще...

— Мерси, — сказал я, отводя взгляд. — Ну, а где же Регина сейчас?

— В районной больнице. Но и об этом она тоже не хотела, чтоб ты знал. И просила нас не говорить.

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Однажды ночью я сидел, перечитывая Диккенса... (Это один из самых любимых моих писателей. Он всю жизнь как бы рассказывает мне обо мне самом. Дает сходный очерк судьбы; конечно, в облегченном, романтическом, староанглийском варианте. И он неизменно утешает меня и греет. Ведь у него всегда в результате добро торжествует над злом. И герой обретает в награду все — и удачу, и истинную любовь!..) Я листал страницы старой потрепанной книги. И дымил папиросой. И неспеша потягивал чефир (особый, крепчайший, по-азиатски сваренный чай). И легко было мне сейчас, в тишине и покое. И верилось: кошмары мои кончились, и судьба сменила знак. И, может быть, скоро откроются в ней новые, счастливые главы.

Возле правой руки моей кипел чайник. Возле левой — стопка книг и бумаг. Посередине стола стояла жестянка из-под пороха, заменявшая пепельницу. А за спиной чернело окно, обметанное инеем и дышащее стужей.

И вот оттуда, из-за спины, внезапно пришло ко мне ощущение опасности. Вернее, какого-то странного тревожного беспокойства.

Я медленно повернулся к окошку. И увидел там, на черном фоне, смутно белеющее чье-то лицо.

Лицо мелькнуло и исчезло. Я так и не успел разглядеть, кто это был? Но уже угадывал: это — нездешний! Это кто-то со стороны, издалека, из прошлого. Из той самой, темной бездны, от которой я все время стараюсь уйти, уберечься. И не могу. И постоянно чувствую ее где-то вблизи, за спиной.

Там у меня имелись не только друзья, но и враги. И врагов много. И самых разных. Так кто же из них? Может, все-таки Рашпиль? Пожалуй, я не обознался тогда, у барака, это был именно он. И он, в свою очередь, приметил меня. И ловко ускользнул, и сам меня начал выслеживать; предпочел превратиться из зайца в охотника. Что ж, так и должно быть по законам бездны. Слова, когда-то сказанные мною, помнит ведь и он. И он тоже, конечно, не ждет от меня добра.

Я заметался. Разыскал и спрятал в рукаве старый свой финский нож. Затем выключил свет. И приоткрыл дверь. (Трюк это старый, испытанный; визитер в таком случае теряется и не знает, что делать, как поступить) И, став у притолоки, сбоку, приготовился к встрече.

Время, однако, шло, и никто не появлялся... "Я становлюсь истеричным", — мелькнуло в голове. Из-за чего, собственно, вся эта паника? Да мало ли кто, в конце концов, мог заглянуть в окно! Ну, например, какой-нибудь пьяный.

И тут я услышал шаги. Они были легки и упруги. Они возникли в отдалении, приблизились крадучись. Дверь скрипнула и подалась. Пришелец остановился, топчась на пороге. И сейчас же я спросил:

— Это ты, Рашпиль?

— Нет, — сказал голос из темноты. Он в самом деле принадлежал кому-то другому. Другому, но тоже очень знакомому!

— Почему темно? — спросил голос. И потом, торопливо, — эй, Чума, что случилось? Ты же здесь, я знаю.

Тогда я щелкнул выключателем. И отшатнулся невольно. Передо мной в потоке света стоял Копченый.

* * *

Вот уж его, признаться, я никак здесь не ожидал!

Фигура эта была, пожалуй, самой загадочной и зловещей изо всех, порожденных бездной... Врагом моим Копченый, правда, никогда не был. Но и добрым другом его тоже нельзя было назвать. Да, в сущности, и не в этом заключалось главное. А в том, что он сам по себе как личность был двойствен и крайне опасен. Любые контакты с ним грозили нежданной бедой. Я знал это отлично. Ведь именно он когда-то спровоцировал меня на поездку к границе. Я искал дорогу ко львовским контрабандистам, а угодил с его помощью прямо к бендеровцам — в потайное их логово, в самый центр террористов! И едва унес тогда ноги. И так до конца и не смог уяснить: кто же он, в действительности, этот сумрачный тип? Во

время минувшей войны он сотрудничал с гестапо, потом был связан с разного рода националистами, а также и с уголовным подпольем. Мы расстались с ним семь лет назад, чем он занимался все эти годы? Кому теперь служил? И почему он оказался в Сибири? И что ему нужно было от меня?

Уж лучше бы это, право же, был Рашпиль; с ним я, по крайней мере, точно знал бы, что делать и как говорить.

Теперь же я молчал в растерянности. И тупо моргал, рассматривал гостя.

Копченый выглядел заправским таежником. Он был в меховой, длинноухой, осыпанной снегом шапке, в тяжелых сапогах и в бараньем полушубке. На одном его плече висел туго набитый вещмешок, а на другом, дулом вниз, короткий, охотничий карабин.

Войдя, он притворил аккуратно дверь. Стащил шапку, отряхнул с нее снег. И улыбнулся. И его сухое, остроуглое, обтянутое оливковой кожей лицо, все пошло мельчайшими морщинами.

— Привет, — сказал он, — ты чего на меня уставился? Не узнаешь?

— Узнаю, — пробормотал я.

— Или, может, не рад?

— Да нет, почему? Просто очень уж все неожиданно.

— А зачем ты, кстати, свет выключал?

— Так, — пожал я плечами. — По ошибке...

Он снял карабин, прислонил его к стене. Повесил котомку на спинку стула. Расстегнул негнущимися пальцами полушубок.

— Замерз я, брат, вот что. Погреться бы чем-нибудь. А?

— Можно, — кивнул я. — Садись. Чайник еще горячий.

— А водочки? — спросил он усаживаясь, — нету? Душу бы сполоснуть. Да и вообще, за встречу.

— Нет, не осталось, — я смущенно развел руками. — Все с вечера еще прикончил. Уж извини!

— Небогато живешь, — сказал он, поджимая губы. Окинул взглядом стол. И, крякнув, полез в котомку. — Н-да, небогато.

Он достал и со стуком поставил на стол бутылку "Столичной" и банку шпрот. Мы выпили. И потом еще. И после третьей порции я спросил с осторожностью:

— А, скажи-ка, как ты меня все же отыскал?

— Нашлись люди, — мигнул он, — нашлись. Навели на след.

— Наверное — этот ублюдок Рашпиль, — предположил я. — Он где-то тут, по-моему, болтается.

— Да, какая разница, кто навел? — отмахнулся Копченый. — Главное встретились. И хорошо. Ты мне нужен.

— Зачем?

— Где-то в этих местах есть старая раскольничья тропа... Забыл, как называется. "Мирская", что ли...

— В общем, верно.

— И она, говорят, ведет за перевал, почти к самой границе.

— Ого, — сказал я, — так ты, что же, уходишь?

Копченый быстро глянул на меня исподлобья. Зрачки его сузились, превратились в колючие точки. Кожа на скулах натянулась. И какое-то мгновение он сидел так, напрягшись и закаменев. Затем проговорил невнятно:

— Что поделаешь? Надо.

— Ну, а я-то зачем тебе понадобился?

— Ты эти места вроде бы знаешь неплохо. Охотишься тут, не так ли?

— Ну, в общем, так.

— Чего ты заладил: в общем, в общем. Ты мне точно скажи, конкретно, знаешь?

— Да, в общем, плоховато, — проговорил я с натугой. — Я на этой чертовой тропе бывал всего раза два, случайно...

— Но все же бывал! Вот теперь и покажи ее мне.

— Н-ну, хорошо, — сказал я, подумав. — Покажу.

А что я еще мог сказать? Связываться с Копченым мне, конечно, очень не хотелось... Но куда же тут денешься? В конце концов, человек просил помощи, и отказать ему было трудно, неловко как-то. Да и, кроме того, я понимал: чем быстрее он исчезнет, тем спокойнее будет для меня самого.

* * *

Легли мы под утро и спали недолго. Да я-то, собственно, почти и вовсе не спал. И Копченый, по-моему, тоже... Просто дремали, чутко и настороженно, как два таежных волка.

Когда барак, наконец, проснулся и загомонил, я отправился к Феде, к бригадиру. И, сказавшись больным, предупредил его, что сегодня на работу не выйду.

Потом мы отсиживались в моей комнате, взаперти, дождались, пока барак опустеет. И, наконец, выбрав удобный момент, украдкой выскользнули наружу. И углубились в синеющий неподалеку, заснеженный, испещренный рассветными тенями ельник.

Идти пришлось долго, главным образом, потому что в этот час в окрестностях леспромхоза сновало немало людей. А попадаться им на глаза не хотел сейчас ни я, ни Копченый. Мы беспрерывно застревали, прятались в зарослях. И когда вышли к ущелью, к руслу старого ручья, день уже был в разгаре, и солнце стояло над самой вершиной перевала, блистало там и плавило голубые снега.

На повороте тропы мы присели отдохнуть. Закурили по последней. Я сказал:

— Иди все время ущельем — это просто. А дальше, в горах, следи за затесами на деревьях. Затесы — в форме крестов. Будут по пути встречаться кержацкие поселения — держись тихо, кланяйся низко, табаком особенно не дыми и крестись не тремя пальцами, а двуперстно. Вот так, понял?

— Понял, — сказал, вставая, Копченый.

— Ну, вот... И все будет о'кей!

Мы обменялись рукопожатием. И он сказал, задержав мою руку в своей:

— А может, пойдешь со мной?

—Нет.

— Почему?

Я попробовал высвободить руку, но он держал ее цепко, как клещами.

— Почему же? — переспросил он, сощурясь. — Ты ведь раньше все время хотел за рубеж. К родственникам. Искал шанс...

— Но не нашел, сам же знаешь.

— Так это потому, что без меня. А теперь со мной все получится точно.

— Но ты идешь в Монголию, что же там может получиться?

— Я иду дальше.

— А дальше — Китай. Еще хуже. Мне только этого не хватало.

— Не волнуйся, мой мальчик, — сказал он высокомерно. — У меня в Монголии свои люди. Они помогут. Выведут куда надо.

— Это какие же люди?

— Ну, монахи. В одном монастыре, в долине Дургун-Хаток. Да какая тебе разница, если ты не идешь?

Он склонился ко мне. Приблизил темное свое, сухое, какое-то и впрямь закопченное лицо:

— Ведь не идешь?

—Нет.

— Боишься?

— Может быть.

— Чего боишься-то?

— Да всего.

— Тихую жизнь, значит, ищешь?

— Конечно.

— И думаешь, найдешь?

— Не знаю... Хотелось бы...

Копченый усмехнулся. По лицу его словно бы прошла судорога.

— Не надейся, мой мальчик! Никогда у тебя ее не будет. Все мы проклятые. И конец у нас у всех один.

— Но, если так, — сказал я, — пусть он хотя бы придет не сейчас. С этим делом, сам понимаешь, никогда не поздно и всегда рано.

— Бережешься, значит, — проговорил он медленно. — Что ж, правильно. — И вдруг добавил с яростной хрипотцой. — Берегись! И учти на всякий случай...

Но я не дал ему договорить. Внезапным резким круговым движением я вырвал руку и отступил на шаг. И спросил возмущенно:

— Чего ты от меня хочешь?

— Ничего, — проговорил, кривя губы. Копченый. — Но все же учти. — Он глотнул воздух. — На всякий случай. — И опять он осекся, словно бы ему стало трудно дышать. — Если ты кому-нибудь, когда-нибудь хоть одно слово...

— Не волнуйся, мой мальчик, — ответил я тогда. — Это прежде всего не в моих интересах. И вообще, в чем дело? Дорогу я тебе показал. Разговор наш окончен. Чего ты еще ждешь? Прощай!

* * *

Конечно, он мог меня запросто здесь прикончить. (Я ведь ему нужен был, как сообщник, а не как свидетель. Свидетелей он, вообще, боялся оставлять!) И потому, отойдя на несколько шагов, я круто свернул в сторону, в бурелом, и присел там, затаился, напряженно вслушиваясь в каждый шорох.

Но нет — Копченый не преследовал меня. Он ушел. Очевидно, поверил мне все же. А может, просто не захотел учинять стрельбу и, как говорят блатные, "засорять дорогу".

Он ушел навсегда из моей жизни. Что с ним сталось? Добрался ли он до Монголии, до своего монастыря? Не знаю, не знаю... Но, думается, вряд ли. Путь его был, вероятно, не долог и оборвался еще в горах. Я почему так считаю? Спустя два месяца товарищ мой Кешка вдруг сказал мне:

— Помнишь, я когда-то рассказывал про "Мирскую" тропу? Про дела, которые там творились? Так вот, я думал, все давно уже кончилось. Ан — нет. Недавно прошел слух, что за перевалом снова нашли убитого. Кто он, откуда — ничего не известно. И кто его шлепнул — тоже... Но все равно в Белых Ключах беспокоятся, боятся репрессий. Убит-то ведь человек на тропе!

И я тотчас вспомнил о Копченом. И подумал, что если это, действительно, он, то обстоятельства здесь гораздо более сложные и запутанные, чем это кажется Кешке... Даже я не знаю всего. Копченый пробирался в Монголию, но почему? Возможно, у него было какое-то задание... А может, он спасался, уходил от преследования. И неизвестно даже, от кого он бежал? От чекистов или от таких же, как он сам? От чужих или от своих? Свои ведь бывают зачастую страшнее всего. Потому-то он, вероятно, и звал меня так настойчиво. Я ему как раз не чужой и не свой, а просто — старый знакомый, на которого он мог рассчитывать. И с которым при всех обстоятельствах он не был бы одинок.

И еще я подумал о том, что кержакам в данном случае можно не опасаться серьезных репрессий со стороны властей.

Но мыслей своих я, естественно, не открыл никому.

АБАКАН

Самое страшное в бродячей жизни — отсутствие над головой надежной крыши, я давно это проверил. И потому, прибыв в Абакан, сразу же принялся подыскивать такую крышу... Гостиницы мне были сейчас не по карману и частные квартиры тоже. (Хозяева пускали к себе только на долгий срок и к тому же требовали задаток.) И все же я нашел, в конце концов, убежище вполне подходящее. Оно называлось: "Заезжий дом при артели инвалидов", находилось возле городского рынка и представляло собой примитивную, последнего сорта ночлежку.

Отдельных номеров тут не полагалось, ночлежка состояла из двух огромных комнат, сплошь уставленных койками, и предназначалась для самых низших, беднейших слоев, — для окрестных колхозников, всякого рода вербованных, базарных нищих... Здесь было шумно, грязновато, но, во всяком случае, дешево. Суточная плата за койку была полтинник. Это меня устраивало. Это, а также и то, что нравы в ноч-

лежке были весьма свободные, и администрация не отличалась особыми строгостями.

Кстати, об администрации. Она вся состояпа из монстров. Я никогда еще не встречал такого количества калек — безруких, безногих, слепых и глухонемых — собранных воедино... Зрелище это было впечатляющее.

И когда я впервые явился сюда и, стоя в прихожей у конторки, толковал с дежурным администратором, — я поглядывал на него с содроганием... У человека этого отсутствовала вся левая часть лица — не было ни левого глаза, ни скулы, ни подбородка. По существу, от него остался один профиль. И было жутко смотреть, как профиль этот говорит, моргает, перекашивается в улыбке. И левой руки у него тоже не было. Ее заменял стальной крючок. Этим крючком он, впрочем, орудовал весьма бойко, перебирал бумаги, двигал ящиками стола и даже почесывался.

Помимо Человека-Профиля, здесь за конторкой обитала также темноволосая, смуглая девушка Ольга, совмещающая обязанности уборщицы и курьера. Лицо ее — в отличие от начальника — привлекало другим… Оно было прекрасно! Такую строгость линий и классическую чистоту я видел, пожалуй, лишь на полотнах старых мастеров... И эта ботичеллевская красотка была глухонемой.

Мы обменялись с ней взглядами, и я уловил там, в тени пушистых ресниц, какое-то смятение, некий странный тревожный блеск... И подумал с чувством острой жалости, что красота для нее — вовсе не утешение, не благо. Скорее, наоборот, — лишняя тяжесть, дополнительное мучение. Ведь это действительно ужасно: иметь так много и в результате не иметь ничего. Быть как бы отмеченным печатью неба, а жить среди отверженных... И знать, что это навечно, что избавления нет.

Были в этом заведении и другие экземпляры, но к ним я старался уже не присматриваться.

* * *

Весь остаток марта я провел слоняясь по городу… Я бродил, увязая в слякоти и ежась от пронизывающего ветра.

Ветер шел из Монголии и был резок и холоден; он бушевал над низкими крышами, гудел в проводах и дребезжал ржавой жестью вывесок.

Надо было срочно устраиваться на работу. И я искал ее упорно. И никак не мог найти.

Тут имелись некоторые сложности. Дело в том, что на каждом крупном предприятии существует отдел кадров. И там при поступлении непременно требуют паспорт и "трудовую книжку", содержащую послужной список... Так вот книжки такой я не имел. А паспорт у меня, вы сами знаете, был неважный и к тому же просроченный. Я его, правда, слегка подновил, подправил (вспомнил старую блатную науку), но все же вид он имел сомнительный...

В одном из строительных управлений меня спросили напрямик: "Откуда вы такой? Ни одного документа о прошлой деятельности... Да и паспортишко какой-то липовый... И, кстати, где ваш военный билет? Уж не с луны ли вы свалились?" — "А разве я похож на лунатика?" — попробовал я отшутиться. "Конечно, — сказали мне, — или на лунатика, или на беглого каторжника…" И я поспешил исчезнуть. И отчетливо понял: в моем положении надо "ходить опасно". Соваться всюду нельзя.

Лучше всего, разумеется, было бы затесаться в какую-нибудь мелкую мастерскую, в кустарную артель, или же подыскать поденную, временную работенку… Но и это тоже оказалось делом не простым. Если в отделах кадров требовались документы, то здесь — личные контакты, знание среды и обстоятельств.

А я ведь не знал ничего и был чужим для всех. И, действительно, чувствовал себя — как бы свалившимся с луны...

Бродя по Абакану, я частенько пересекал центр города, и на глаза мне все время попадалась вывеска с названием областной газеты. Она была пышна, эта вывеска. (Красные литеры на черном фоне, окруженные дубовыми — или фиговыми? — листочками.) И как-то раз, остановившись перед ней, я подумал: "А может, зайти? Рискнуть? Три прежние попытки не удались, что ж... Сделаем четвертую! Уже не по

правилам игры, а против них! Фортуна лукава, переменчива, и — кто знает? — вдруг она мне теперь улыбнется... Вот именно теперь!?"

Вывеска завораживала, притягивала. Поколебавшись с минуту, я решительно шагнул к дверям, толкнул их — и очутился в редакции.

* * *

Первый этот мой визит был в общем недолгим. Я познакомился с литературным консультантом Виталием Дубининым. Отрекомендовался лесорубом. А затем объяснил, что пишу. Увлекаюсь поэзией и прозой. И вот хотел бы кое-что показать... Я человек простой — из тайги, из народа — и любой совет и помощь со стороны культурных людей приму с благодарностью. Он пробормотал уныло:

— Выращивать народные дарования — наша прямая задача.

— Так, значит, я вам принесу?..

— А вы уверены, что приносить стоит?

— Не знаю, — потупился я. — Мне кажется, да.

— Н-ну, если вам так кажется...

Общение с народом, судя по всему, никак не радовало консультанта. Вид у него был сонный, губы обвисли. И говорил он невнятно и прерывисто, словно бы борясь с зевотой:

— Приносите... Посмотрим... Но учтите: я принимаю по вторникам и пятницам. Только в эти дни.

* * *

Была как раз пятница. До следующей встречи оставалось немного, и я решил к ней подготовиться получше, пересмотреть и заново почистить рукописи, отобрать самое зрелое, самое яркое.

"Ты еще у меня проснешься, перестанешь зевать, — думал я, — ты еще, друг мой, Дубинин, поймешь, с кем имеешь дело

— с каким лесорубом. Я тебе покажу, сукин сын, что такое "народные дарования"!"

Я сидел в своем углу на железной скрипучей койке. Поставленный поперек нее чемодан заменял стол. На нем разложены были бумаги, и я перебирал их, дымил папиросой.

Углубленный в мысли, я как бы отключился от окружающего. И уже не замечал храпящей, сонной, ворочающейся, дурно пахнущей этой ночлежки. Я был сейчас далеко... Но кто-то внезапно приблизился и остановился сопя у кровати. И тотчас же я вернулся в реальность.

Я не любил, когда кто-нибудь оказывался за моей спиной, любое дыхание сзади могло означать опасность... И, очнувшись, я обернулся резко и вскинул голову и увидел громоздкого, непомерной толщины человека. Он был пьян. И возвышался надо мной, слегка покачиваясь, засунув руки в карманы грязных клетчатых панталон. Редкие волосы на его черепе стояли дыбом. Под глазами набрякли лиловые мешки.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

— Пишешь? — гулким басом спросил незнакомец. — Что пишешь-то, ась?

— Ты все равно не поймешь, — отмахнулся я.

— А может, пойму? — он прищурился. И потом: "Ты кто?"

— А ты кто? — спросил я.

— Я — Барон!

— Какой еще Барон? — поморщился я. — Иди, папаша, не мешай. Тебе спать пора... Баиньки...

— Не могу, — прогудел он, — душа горит. — Бас у него был тяжелый, рокочущий, с хрипотцой. — Ты вроде грамотный? Знаешь пьесу Горького "На дне"?

— Ну, знаю, знаю... И что?

— Это великая пьеса! — он поднял мохнатый палец. — Проникновенная! О бродягах, о неудачниках, о падших людях, обитателях такой же, в сущности, ночлежки... Там есть образ Барона, припоминаешь? Так вот, это я.

— Что ж, поздравляю.

— А ты не смейся! Я — тот самый персонаж! Да и все мы, если вдуматься...

Барон широко повел рукой и при этом пошатнулся... Но все же не рухнул, устоял.

— Все мы оттуда, из горьковского "Дна".

— Почему же из горьковского? — пожал я плечами. — Из абаканского... Этот вариант не хуже.

— Тоже верно...

Он затих на мгновение. Посопел, раздувая щеки. Потом склонился ко мне и спросил, дохнув густым перегаром:

— Что же ты все-таки пишешь?

— Ну, стихи... Какая тебе разница?

— Стихи-и, — протянул он. — Интересно!

И вдруг быстрым, каким-то воровским движением цапнул лежащие на чемодане листки.

— А ну, — сказал я грозно, — положь!

Раздраженный, рассерженный, я поднялся. И протянул к Барону руку. "Не отдаст, — стремительно подумал я, — буду бить! А что еще мне остается? Чертов алкаш... Откуда он только взялся на мою голову?"

И в этот самый момент Барон сказал:

— А ведь вроде бы неплохо! Что-то есть, ей-Богу, что-то есть... Вот тут, например,: "Покукуй, Потоскуй, Погорюй, — так зовутся сибирские села..."

И рука моя ослабла. И злость прошла. Я опустился на койку. И, глядя на него, понял: это — артист! Профессионал! Может быть, опустившийся, потерянный, пропивший карьеру, но, как бы то ни было, — артист настоящий.

Облик его изменился. Выражение пьяного ерничества сошло с лица, и взгляд стал строгим. А голос помягчел, потеплел, обрел удивительную пластичность. Впервые в жизни я слушал свои стихи в таком мастерском исполнении!

Там, в тайге, рыл я землю сырую,
горевал о тебе, в "Погорюе"...

Барон читал негромко, сдержанно, слегка подчеркивая ритм и находя певучую музыку там, где я и сам, признаться, ее не видел... И музыка эта постепенно росла, заполняла собой все помещение, все видимое пространство.

Ну и вот, все сбылось. Я доволен!
Томик Киплинга. Лампа. Покой...
Я с тобой. Все сбылось. Я доволен.
Но зачем же, все более, болен
я свирепой, бродяжьей тоской?
"Потоскуй", — свищет сумрак за ставней.
"Покукуй", — закликают составы.
Стал огонь сигареты — звездой.
Встал огонь над иззябшей водой.
Мне б все это забыть, мне б забыться...
Но не спится. Не спится. Не спится!

И вот тогда, слушая Барона, я снова воспрянул духом. И опять поверил в себя.

* * *

Слушал Барона, как выяснилось, не только я один; известие о ночном "концерте" живо распространилось по всей ночлежке. И я сразу же стал здесь заметной фигурой.

Утром, в субботу, меня встретил Человек-Профиль. И, поздоровавшись учтиво, сказал:

— Отдельных номеров у нас, вообще-то, не полагается Но все же есть несколько... Есть... Так вот, если желаешь, — могу устроить.

— Конечно, — встрепенулся я, — еще бы! Но понимаешь ли...

И я сложил щепотью пальцы и пошевелил ими смущенно:

— С этим у меня пока туговато, учти.

— Понимаю, — кивнул он. И перекосился в улыбке. — Это ничто. Неважно. Нет сейчас денег — будут потом.

Новая комната была мала и неказиста, но все же понравилась мне чрезвычайно. Главным образом, потому, что тут было тихо. Никто не тревожил меня, не мешал. Но однажды...

Они вошли осторожно, гуськом, заботливо держась друг за друга и дробно постукивая палочками. Их было шестеро. И тот, кто шел впереди, являлся, очевидно, старшим. Был

этот тип высок, сухощав, с запрокинутым к небу жестким морщинистым лицом. На нем была потрепанная шинель нараспашку. Над карманом ветхой, латаной гимнастерки пестрели орденские колодки. И вообще весь облик слепца выказывал старого солдата-фронтовика.

— Это ты, что ли, поэт? — спросил он, легонько коснувшись меня палочкой.

—Ну, я.

— Принимай гостей!

— Пожалуйста. А в чем, собственно, дело?

— Как в чем? — отозвался тот. — Ты же ведь поэт? Ну, вот, мы и пришли познакомиться с тобой, послушать...

— Ого! — подумал я, — культурная мне попалась ночлежка... Сколько на этом "дне" любителей поэзии! Толпами валят.

И сказал:

— Что ж, присаживайтесь.

И вот так начался новый этот концерт... Польщенный и растроганный, я старался изо всех сил, читал вдохновенно, долго. Выдал слушателям все самое лучшее. Потом, утомпсь, закурил. И примолк в ожидании похвал.

Старшой сказал скучным голосом:

— Вообще-то, ничего. Неплохо. Но...

— Что "но"? — удивился я. — У вас, кажется, имеются какие-то претензии?

— Ты, друг, не обижайся, — проговорил он быстро, — ты вникни. То, что ты сейчас прочел, это все — как бы тебе объяснить? — литература... А нас другое интересует.

— Вот как! — сказал я надменно.

— Ну да, ну да. Нам что нужно? Что-нибудь простенькое, легкое, такое, чтоб петь можно было...

И он добавил, помедлив:

— Это ведь нам не для забавы — для дела.

— Для какого?

— Нашего... — он потрогал черные свои очки. — Базарного. Песня в нашем деле главное. Чтобы клиент раскошелился — его надо разжалобить, за душу задеть. Ну, вот. Потому мы и пришли. Может, у тебя найдется что-нибудь?

— Не знаю, — насупился я, — надо подумать. Когда-то я сочинял песни — блатные, лагерные... Но они, наверное, вам не подойдут.

При этих словах слепцы заметно оживились. Старшой сказал, придвигаясь:

— А ну-ка, ну-ка, — давай! Процитируй!

Порывшись в памяти, я процитировал несколько текстов — наиболее жалобных, надрывных, в которых речь шла о сгинутой молодости и утраченной любви... И это подействовало мгновенно — вызвало всеобщий восторг.

Две особенно понравившиеся песни слепцы заставили меня повторить несколько раз. Затем старшой поднялся. Поблагодарил. И, прощаясь, сунул мне в руку плотный конверт.

Я открыл его — и увидел деньги.

— Ну, зачем же? — пробормотал я растерянно, — не надо, ребята... Нехорошо...

— Чепуха, — небрежно сказал старшой. — Знаешь поговорку: дают — бери, а бьют — беги... Так вот, бери! Ты человек свой, не стесняйся.

— Но все же, неудобно. Если уж давать, то я вам должен, а не вы мне...

— Нашу долю мы на базаре возьмем, выпросим! С такими-то песнями — да не взять?! За нас не беспокойся! А это — твое, заработанное, законное.

И они ушли, в прежнем порядке, гуськом, ступая след в след, как индейцы. И, оставшись один, я долго сидел, перебирая выпавшие из конверта бумажки...

Быстро же, черт возьми, я тут освоился, — думал я, исполненный мрачного юмора, — удивительно быстро! Добился, в сущности, всего, чего хотел: и успеха, и положения. И вот, уже удостоился отдельной комнаты. И стал среди нищих "своим человеком"... И даже получил у них гонорар. Первый в жизни — гонорар за поэзию!

Я пересчитал деньги. Их было немного, всего сорок рублей. Суммы этой, впрочем, как раз хватало на то, чтобы заплатить за новое жилье... Может быть, Человек-Профиль

специально и устроил мне эту встречу? Что ж, — усмехнулся я, пряча бумажки в карман, — как бы то ни было, деньги пришли вовремя! И вообще, главное — не в деталях, а в сути... Посмотрим, что будет дальше". Первый мизерный гонорар я получил на "дне", может быть, следующий — крупный — ждет меня на поверхности?

* * *

Поздней осенью пятьдесят четвертого года я вышел из ворот Владивостокского порта. На мне был все тот же потрепанный морской бушлат. Тяжелые обитые сапоги. И мешок за спиной болтался — совсем уже легонький, плоский.

День был пасмурный, мглистый. Моросил мелкий дождичек — сек лицо и полз за воротник. Пройдя несколько улиц, я огляделся, ища укрытия. Увидел вывеску пивной. А на противоположной стороне улицы — массивное здание библиотеки.

С минуту я стоял колеблясь, не зная куда повернуть. Пивная манила — но идти туда было боязно... Денег оставалось немного, их следовало беречь.

И, шлепая по лужам, я пошагал через улицу.

В библиотеке было тихо, чисто, тепло и пахло старыми книгами; особым неповторимым запахом, всегда напоминающим мне детство... Я сразу как-то обмяк, расслабился, угрелся. Лениво подошел к столу, на котором тяжелой грудой лежали подшивки сибирских газет. Стал их небрежно перебирать. И вдруг увидел подшивку газеты "Советская Хакассия".

Это была та самая газета, в которой я безуспешно пробовал начать... И где оставил, уходя, все свои рукописи.

Теперь я с интересом ее просматривал; я как бы встретился со старым знакомым...

Наконец-то я узнал, что делается в мире и в нашей стране. В ней, судя по всему, начинались немалые перемены. Сталинский ставленник Берия был разоблачен и расстрелян. "Коллективное" руководство скончалось. К власти пришел Никита Хрущев. Имени его раньше я никогда не слыхивал — и одно это уже было признаком неплохим, обнадеживающим.

Ну, а что же творится в самой Хакассии? — Я склонился над подшивкой. И с маху перелистал несколько номеров.

И отшатнулся. И на мгновение даже зажмурился.

С помятой, захватанной газетной страницы на меня в упор смотрело мое собственное имя: "Михаил Демин". А пониже, жирным курсивом, значилось: "Лирический Цикл".

Цикл был довольно большой и подобран неплохо. И здесь же, в редакционной заметке, сообщалось, что газета представляет читателю нового, молодого (!), начинающего автора.

Заинтересовавшись, я торопливо начал рыться в пропущенных экземплярах. И обнаружил там еще две поэтические подборки, а также большой, во весь разворот, художественный очерк о природе Южной Сибири.

"Значит, час мой пришел, — подумал я, — все-таки я дождался..."

И странное дело — я подумал об этом с облегчением, с радостью, но уже без того пылкого, юношеского восторга, который охватывал меня раньше при мысли о такой удаче... Я больше не бурлил и не пенился.

Ну что ж, вот и окончилась моя Одиссея! Продолжалась она почти два года — но за это время я как бы прожил целую жизнь. Было все в ней: и голод, и безумие, и страх... И трубил надо мной ветер странствий — ветер многих морей. И встречались на пути моем Сирены, и попадались чудовища. И приходилось мне проскальзывать между Сциллой и Харибдой. И сталкивался с гигантским Циклопом (правда, уже утомленным, дряхлеющим, но все еще, по-своему, грозным!). Я несколько раз уходил у него из-под рук, спасался от заточения... Но давалось мне это нелегкой ценой.

Теперь это все позади. Зигзаги кончились. Начинается новый, обратный путь. Мне предстоит вернуться туда, откуда я бежал когда-то и где сейчас — призывно и гулко — ударили колокола судьбы!

"ХУДОЖНИК И ОБЩЕСТВО"

Так называлась недавно состоявшаяся в Тель-Авивском музее выставка работ израильских художников, охватившая тридцатилетний период существования государства. Не касаясь общей оценки этой выставки, хочется отметить, что она является свидетельством — пусть неполным и неточным — отношения разных художников в разные периоды к сложной и многозначной реальности Израиля.

Социологически самым интересным является раздел "Реализм пятидесятых годов". Иные из критиков говорят о дурном вкусе устроителей, отобравших весьма второстепенные работы Моше Гата или Иоханана Симона, написанные в стиле соцреализма и вполне достойные экспозиции в провинциальном советском музее. Однако же картины эти отражают определенную реальность пятидесятых годов — увлечение большой части интеллигенции идеями социализма и желание активно участвовать в его строительстве в Израиле. Разумеется, это не было явлением специфически израильским. Увлечение социализмом распространялось после войны и на весьма широкие круги интеллигенции в Западной Европе и во всем мире. Слава Говарда Фаста, Пабло Неруды, Поля Робсона, Назыма Хикмета и итальянских неореалистов гремела, как известно, не только в Советском Союзе. Но и в Израиле, где высшим идеалом социальной организации долгие годы являлся кибуц, и почти вся хозяйственная жизнь регулировалась всемогущими профсоюзами, тенденции к социализму и к аутентичному социалистическому искусству были более сильными, чем на Западе.

Гершон Книспель, удостоившийся в 1957 году золотой медали на Международной выставке в Москве, так вспоминает о своем прошлом: "Мы рассматривали себя как коллектив, где каждый, по мере возможностей, выполнял скучную работу во имя великого дела... Самый распространенный и ужасный ругательный эпитет среди нас был "формалист". В те дни мы думали, что это — худшее обвинение для художника".

"Соцреалисты" в Израиле прекратили свое существование в середине шестидесятых годов. Как и для их единомышленников на Западе, для них прозвучали колокольным звоном XX съезд КПСС и подавление венгерского восстания, а гвозди в гроб с их надеждами забило советское вторжение в Чехословакию. Поскольку выставка охватывает лишь искусство, имеющее социальную направленность, на ней нет преобладавших в шестидесятые годы абстрактных работ.

Следующий ее раздел — поп-арт конца шестидесятых — начала семидесятых годов. Поп-арт возник в Америке как острая реакция на общество потребления. Поп-арт создает образы, используя и организуя в структуры предметы массового пользования — газеты, фотографии, вещи. Однако, возникновение израильского поп-арта не связано лишь с американской модой. Это прежде всего реакция многих художников на "падение нравов" — естественную переориентацию израильского общества на буржуазные стандарты, боль за то, что Израиль превращается в Эльдорадо для лавочников. В этом разделе представлено несколько хороших работ. Например, ставшая классической работа одного из лучших израильских модернистов Рафи Лави "Четверть миллиона", которая пародирует радужные надежды на выигрыш в широко рекламируемой лотерее "Спорт-тото".

Но наиболее интересным художественно является раздел, посвященный различным направлениям в искусстве семидесятых годов. Работы, помещенные в этой секции, волнуют зрителя и потому, что они соотнесены с современными проблемами. Фотореалист Йорам Розов и сюрреалист Шмуэль Бак исследуют в своих картинах миф о пилоте, герое последних израильских войн. На двух картинах Розова пилот — это туловище без головы, непроницаемо закутанное в сложную амуницию. Но есть ли душа за бронированным телом? Вопрос обращен к зрителю. Пилот Шмуэля Бака похож на святого Себастьяна с картины Мантеньи. На него напялены нелепые крылья, и полет явственно обречен на смерть. Бак актуализирует миф о Дедале и Икаре. Это отцы сионизма, нацепившие крылья сыновьям и пославшие их на гибель...

Острая политическая сатира — триптих Ури Лифшица, представляющий постепенное изменение личности Моше Даяна, политической фигу-

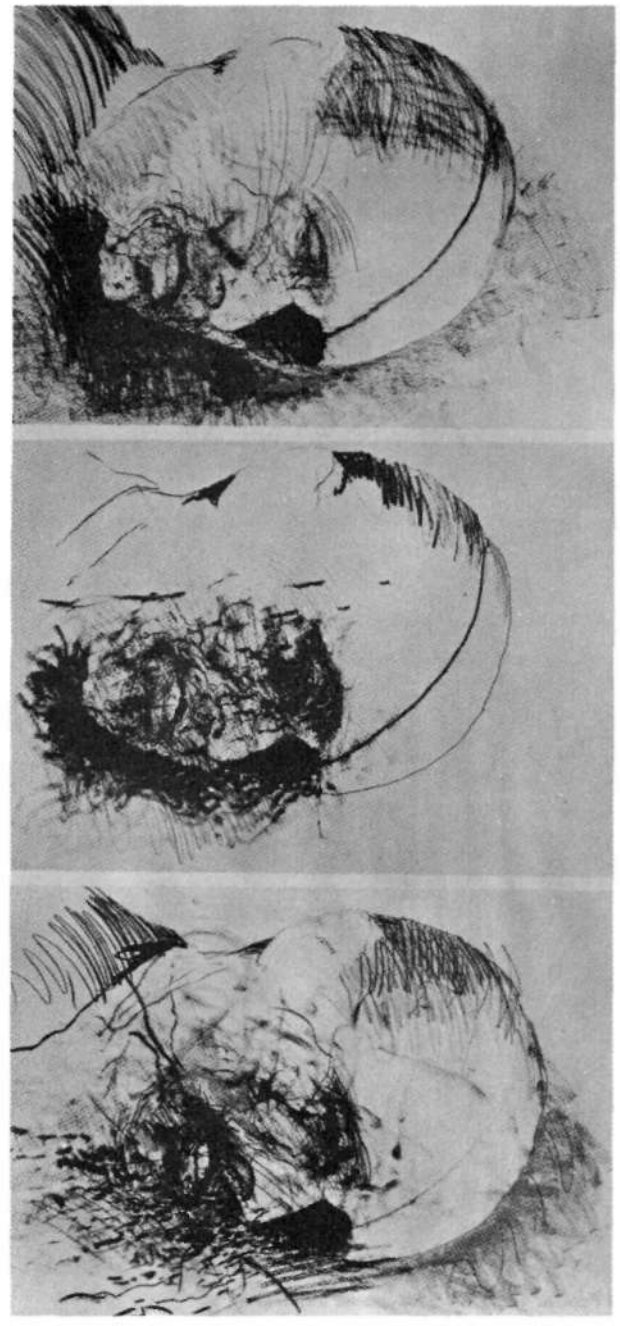
ры, наделенной в глазах многих израильтян далеко не привлекательными чертами.

К первоклассной политической сатире относится серия работ Комара и Меламида "Арль. Мировые лидеры с отрезанным правым ухом". Эта серия пародирует знаменитый автопортрет Ван-Гога и одновременно содержит недвусмысленное политическое послание: фанатичный Бегин, глуповатый Картер, коварный и лукавый Садат — все глуховаты, и каждый говорит в отрезанное ухо другого. Страшный комментарий к грядущему миру!

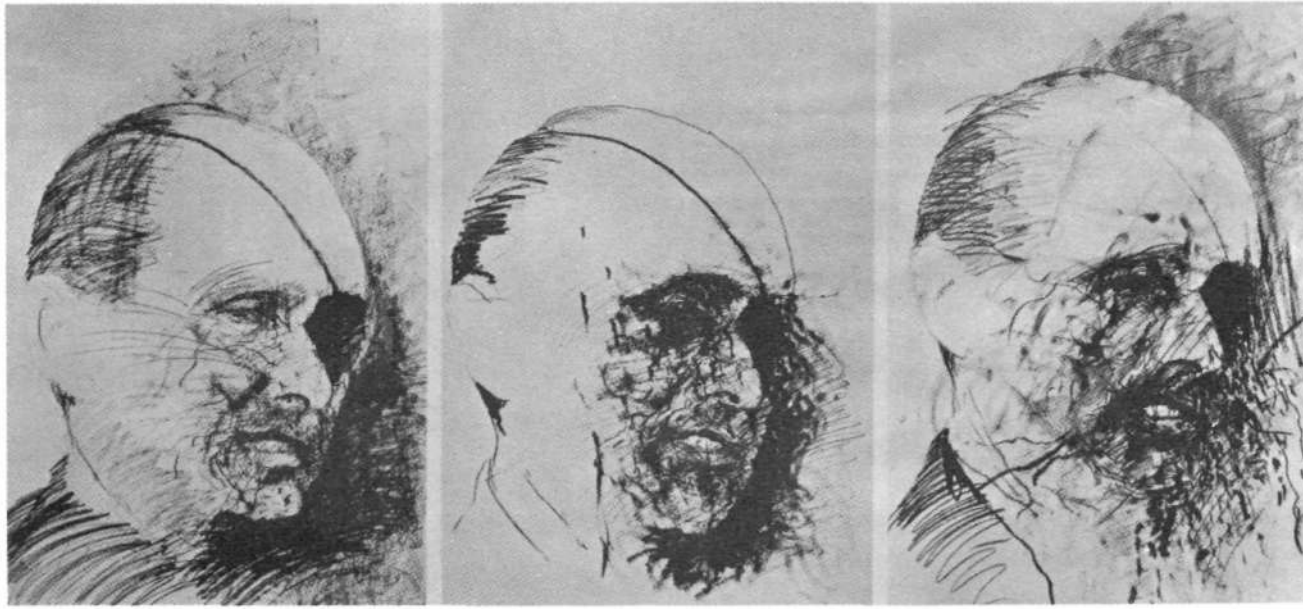
В серии работ "Пионеры" сюрреалист Йосл Бергнер пересматривает еще один миф — миф об освоении Палестины, которое принято представлять в радужных тонах: "Конечно, были трудности, но..." Поселенцы Йосла Бергнера — маленькая группа в бескрайней пустыне — смотрят на нас пустыми глазницами мертвецов.

Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что представленный обзор далеко не полон: даны не все разделы и, конечно же, далеко не все работы, а те, что показаны во многом не отражают развитие и состояние современного израильского искусства. Нет на выставке концептуалиста Йошуа Нойштейна, нет Дани Каравана, нет Ицхака Данцигера, как и многих других талантливых мастеров. Однако и те, что представлены в этом номере, я надеюсь, дадут читателю какое-то представление о современном израильском искусстве и, в частности, об одной из его ведущих тем "Художник и общество".

Галина КЕЛЛЕРМАН



Ури Лифшиц. Моше Даян. Карандаш, уголь, пастель.

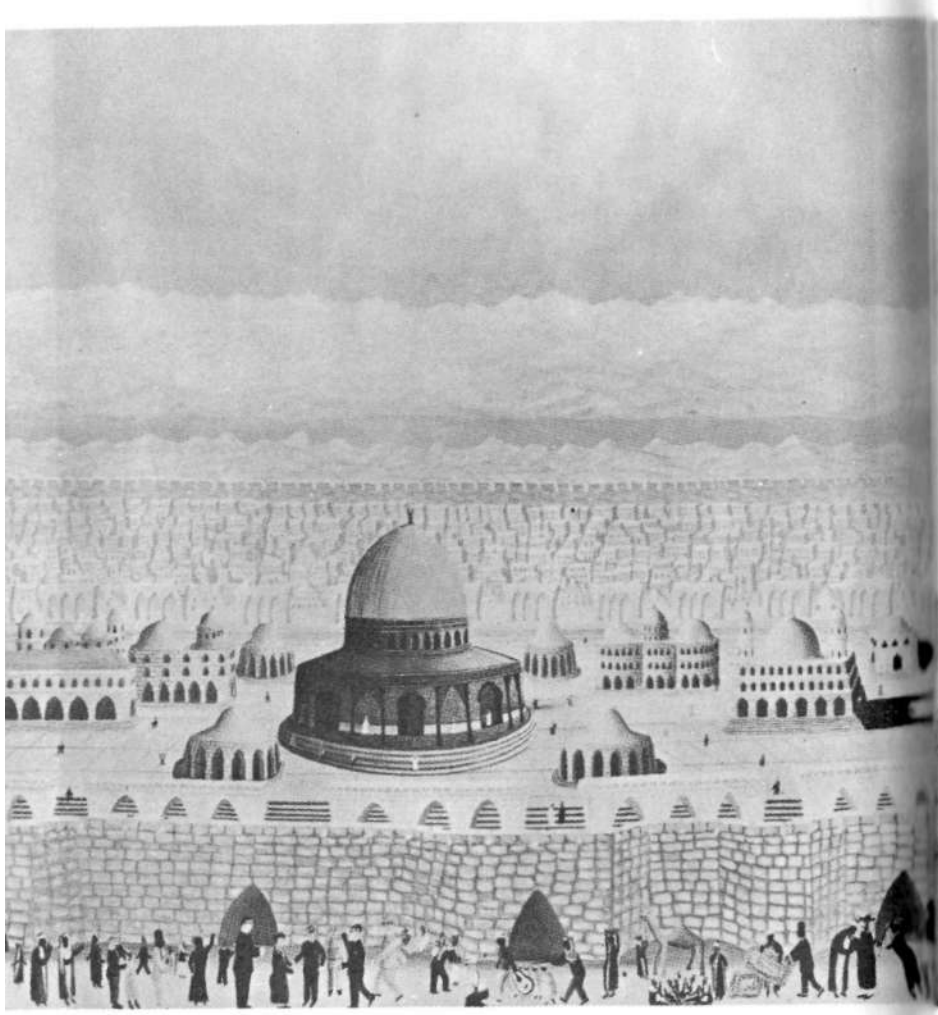


Ури Лифшиц. Моше Даян. Карандаш, уголь, пастель.

Йорам Розов. Торс 1, II. Масло на холсте.

Игаль Тумаркин.
Он гулял по полям.
Бронза.

Шмуэль Бак. Шесть крыльев. Масло на холсте.



Габриэль Коэн. "Визит Киссинджера в Иерусалим". Масло на холсте.

Йосл Бергнер. Из серии "Пионеры". Масло на холсте.

Телевизионный фильм "Катастрофа" вызвал многочисленные отклики и самые противоречивые оценки читателей. В этом номере мы публикуем одно из наиболее интересных, на наш взгляд, писем в редакцию, опубликованных ранее в газете "Лос-Анджелес таймс". Его автор - Сай Фрумкин, бывший узник концентрационного лагеря Дахау, ныне живет в Калифорнии. В Америке Сай Фрумкин известен как один из активнейших борцов за свободу советского еврейства и инакомыслящих в СССР.

Сай ФРУМКИН

НЕ ХОЧУ БЫТЬ ХРАНИТЕЛЕМ КАТАСТРОФЫ

Письмо в редакцию

Некоторое время назад, по поручению Центра изучения Катастрофы европейского еврейства Симона Визенталя, я побывал в одной из средних школ, в долине Сан Фернандо. Там мы показали получасовой документальный фильм о Катастрофе, а затем мне — одному из оставшихся в живых узников концентрационных лагерей — ученики задавали вопросы. Они явно были потрясены увиденным, и позже, когда я уже направлялся к своей машине, ко мне подошел мальчуган лет двенадцати-четырнадцати. Он, определенно, хотел сказать что-то такое, что чувствовал, и старался это сделать с большим тактом:

— Я видел вас около аудитории до начала кино. И знаете, — сказал он, — мне никогда не пришло бы в голову, что вы были одним из тех...

— Ты имеешь в виду переживших Катастрофу, — спросил я.

— Да, — ответил он. — Вы так хорошо выглядите.

И я на минуту представил себя его глазами. Человек средних лет. В цветной спортивной рубахе. Вельветовые джинсы, кожаный пиджак. Носящий длинные волосы и бороду. Короче, самый обыкновенный калифорниец среднего класса.

— Ты не думал, что я могу выглядеть таким нормальным?

— Я не имею в виду то, что вы должны выглядеть ненормальным... — смутился он.

Я понял, что он ожидал увидеть человека, пережившего Катастрофу, — совсем иным, с шаркающей походкой, грустным или даже трагическим выражением лица. И, действительно, как было его убедить в том, что то, что произошло во время Катастрофы, случилось с нормальными, обыкновенными людьми и было осуществлено нормальными, обыкновенными людьми. Это могло случиться и с ним, или же, напротив, он сам мог бы осуществить это, будь обстоятельства иными...

Меня не всегда звали Сай Фрумкин. Это имя я стал носить после 1949 года, когда приехал в Соединенные Штаты, хотя я был урожденный Симас Фрумкинас в Литве. Целый период моей жизни прошел без имени, в середине сороковых годов я именовался "заключенный номер 82191" концентрационного лагеря Дахау. И всякий раз, когда охранник обращался ко мне с приказом или вопросом, я обязан был в точности повторить свой номер.

27 апреля этого года в узком, интимном кругу друзей, я праздновал 33 годовщину своего освобождения из Дахау. Тогда мне было всего четырнадцать лет. Похоже, что тогдашнее мое существование, под номером 82191, никак не соотносится с моей сегодняшней жизнью Сая Фрумкина. Между той и этой датами я старался жить, как живет более или менее нормальный человек, в более или менее нормальном мире.

Несколько недель назад я посмотрел телевизионную серию "Катастрофа", рассказывающую о том, что произошло с европейским еврейством при Гитлере, и вот теперь многие люди — евреи и неевреи, пережившие Катастрофу и не сведущие — спрашивали, что я думаю об этой передаче. Оказалось, что выразить мои впечатления было не так-то просто. Я посмотрел все четыре части фильма и подозреваю, что некоторые из моих мыслей могут показаться не вполне обычными.

Я думал об Инге, нееврейской женщине, которая дала убежище госпоже Вейс и ее детям, несмотря на протесты со стороны ее семьи и уговоры "избавиться от этих евреев". Вот тогда-то я поймал себя на том, что мысленно составляю список тех неевреев, к кому бы я мог обратиться, если бы "они снова пришли за мной". Я представил себе в точности, как это может быть.

Прежде всего, неопределенное время я бы жил у этих людей, как иждивенец, так как не смог бы работать и зарабатывать себе на жизнь. Я был бы незваным гостем в семье, давшей мне кров. Ее соседи ни в коем случае не должны были видеть меня и даже подозревать о моем существовании, ведь скрывать меня почиталось бы преступлением.

Итак, принимая все это во внимание, кто бы пошел на это? Составленный в уме список был неимоверно краток. Вскоре я переставил обстоятельства. Что, если бы стало противозаконным быть блондином, негром, левшой, голубоглазым, гомосексуалистом? Кого бы из них я призрел? Сколько моих друзей взяли бы одного из них? Сколько бы взяли вы?

Есть у меня приятельница, Катя, принявшая иудаизм еще в колледже. Этнически она — чистая американка, правда, с примесью голландской, ирландской, австрийской и скандинавской крови. Невозможно даже представить более нееврейскую внешность, чем у нее: длинные русые волосы, голубые глаза, молочно-персиковая кожа. Прохожие обычно недоумевают, когда видят магендавид у нее на шее. Ее дочь, Мишель — типичный шестилетний американский ребенок, обожающий макароны с сыром, игрушечные лошадки и куклы.

Когда мы смотрели первую часть "Катастрофы", Катя неожиданно спросила меня, похожа ли Мишель на еврейку. Я никогда не задумывался над этим. "Однако, — сказал я, — она, конечно, не так непохожа на еврейку, как ты. Но почему ты об этом спрашиваешь?" Катя немного смутилась: "Я вдруг подумала: если будут искать еврейских детей, возьмут ли "они" ее?"

Моя приятельница вовсе не страдает врожденной паранойей. Ее предков никогда не преследовали ни римляне, ни крестоносцы, ни инквизиторы, ни казаки, ни нацисты. Ее предпочтение иудаизму шло, если можно так выразиться, от интеллекта. Но что интересно: телевизионная программа пробудила в ней чисто "еврейские" эмоциональные реакции.

Я беседовал с другим своим знакомым — Беном, после окончания последней серии "Катастрофы". Бен — один из оставшихся в живых узников Варшавского гетто. Он был голубоглазым блондином и во время пребывания в гетто ему иногда удавалось что-то продавать и покупать на арийской стороне, по ту сторону стены. Когда однажды он вернулся, то не нашел своей жены и двух детей, их увели нацисты. Каким-то образом ему удалось раздобыть документы, подтверждающие, что он поляк, и так он бежал из гетто. Когда я спросил его мнение о фильме, он лаконично ответил: "Это хорошо — люди должны знать о том, что произошло". Но при этом добавил, что не было рассказано всей правды, были опущены кадры, показывающие человеческие трупы, валявшиеся на улицах гетто, которые каждое утро оттуда убирали. Немцы привезли в гетто 150 тысяч евреев из маленьких деревень и местечек. Эти люди вообще не могли существовать, так как у них не было вещей для обмена на еду на черном рынке. "Они погибали первыми, — рассказывал Бен. — Они умирали от голода, сидели на улицах, моля Бога, чтоб послал им кусок хлеба".

Когда началось восстание в гетто, Бен, который тогда уже был на свободе, пробрался к стене, чтобы посмотреть, как самолеты с бреющего полета расстреливали узников. Поляки, стоявшие рядом, аплодировали немцам. Бен сказал, что в гетто никто не знал, что людей, которых уводили, должны были убить. Всем выдавали дорожный рацион, и люди верили, что их переводят в другой лагерь на работу.

Затем он рассказал мне о недавнем пасхальном седере, проходившем в синагоге "Синайский храм" на Вилишевском бульваре. Он сидел рядом с еврейским строительным подрядчиком, родившемся в Америке, который спросил его: неужели он действительно верит тому, что показали в "Катастрофе".

Что характерно? Фильм подчеркивает еврейскую пассивность — евреи не оказывали сопротивления и неизменно подчинялись нацистам. Но верно ли это? И только ли евреи были пассивны? Известно, что немцы захватили пять миллионов русских военнопленных, полтора миллиона вернулись, остальные три с половиной миллиона погибли от голода или были расстреляны. Единственный раз, когда показали русских военнопленных, — это в связи с восстанием и побегом из лагеря Собибор. Но не было показано, — за исключением Сабибора, — как три с половиной миллиона молодых, здоровых, тренированных солдат и офицеров Красной Армии шли на смерть, не оказывая сопротивления. Я уже не говорю о Ватаанском марше смерти, во время которого погибло более десяти тысяч американских военнопленных, а их в течение месяца сопровождало всего лишь несколько японских охранников. Они тоже были молодыми тренированными бойцами. Почему же они не бунтовали? Почему не могли уничтожить охрану и бежать? И к чему же тогда этот акцент на неспособность европейского еврейства к сопротивлению. Ведь в целом евреи оказали больше сопротивления и действовали более эффективно, чем другие народы.

Варшавское гетто держалось четыре месяца — дольше, чем все Польское государство, сдавшееся через три недели, дольше, чем Бельгия, продержавшаяся восемнадцать дней, или Франция — сорок один день.

Мой друг, Вальтер, оставшийся в живых после Берген-Бельзен, женат на Сюзан, прошедшей через Аусшвиц. Он — преуспевающий директор рекламной фирмы, она управляет компанией, торгующей одеждой.

Сюзан не хотела смотреть "Катастрофу" и даже не хотела, чтобы ее смотрели Вальтер или дети. Между супругами произошла размолвка, после которой Сюзан ушла наверх, в спальню, а Вальтер все же остался в салоне — у телевизора.

Когда передача кончилась, Вальтеру, по его словам, показалось, что где-то рядом пронеслась полицейская машина с завывающей сиреной. Он поднялся в спальню, открыл дверь и увидел Сюзан, лежащую на полу — обхватив голову, она рыдала и билась в истерике.

Оказывается, она не выдержала и все-таки посмотрела первую серию, и такой была ее реакция. Четверть часа понадобилось Вальтеру, чтобы вывести ее из этого состояния. Она не узнавала его, царапалась и дралась. Позже она поражалась: "Боже, что это было со мной? Я была вне себя".

...В конце концов, я пришел к такой мысли: "Катастрофа", в действительности, не принадлежит только евреям. Евреи "владеют" ею, так как никто другой не желает признать за собой этого права. Нацисты убили больше нееврейского населения, чем евреев. Когда-то цыгане, свидетели Иеговы и гомосексуалисты истреблялись с той же беспощадностью. До нацистов турки убивали армян, арабы убивали черных африканцев, американцы и испанцы истребляли индейцев. В начале века аргентинское правительство истребило все индейское население. Масштабы были меньшими, но установка и дух — те же. Но как-то все это забылось, и мир думает исключительно о евреях, если заходит речь о подобных зверствах.

Когда бывший полковник СС Каплер, виновный в убийстве 335 итальянцев в Риме, в прошлом году бежал из итальянской больницы, журналисты автоматически обратились за реакцией в еврейскую общину Рима. Почему? Ведь только 50 из убитых Каплером были евреи, остальные — добропорядочные католики.

Неужели никто не хочет признать своих мертвых, оплакивать их, мстить за них? Неужели только мы, евреи, единственные в мире готовы признать бесчеловечность отношения человека к человеку и принять то, что произошло и что еще может повториться?

Мне не нужен титул "Хранителя Катастрофы". Мы, евреи, не просили его, и он принадлежит не только нам. Но если остальной мир отказывается постигнуть и принять ее реальность, то нам, немногим оставшимся в живых, ничего другого не остается, как стать ее хранителями.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Сергей **ДОВЛАТОВ**, писатель и журналист, родился в 1941 году в Ленинграде. Автор многочисленных статей, опубликованных в советской прессе. С 1962 года стал писать прозаические вещи. В 1973 году по распоряжению КГБ была остановлена публикация его книги рассказов "Пять углов". Печатался в русской зарубежной прессе — в журналах "Континент", "Время и мы". В настоящее время издательство "Ардис" (США) выпускает его повесть "Невидимая книга" на английском языке. За публикацию своих произведений на Западе подвергался как "судебным", так и "внесудебным" преследованиям со стороны властей (избиения, провокации, потеря работы). В августе этого года вместе с матерью покинул СССР. В настоящее время живет в Вене.

Илья БОКШТЕЙН. См. журнал № 33

Анри ВОЛОХОНСКИЙ, поэт, родился в 1936 году в Ленинграде. По профессии лимнолог. В России почти не публиковался. Репатриировался в Израиль в 1973 году. В настоящее время живет в Тверии, работает в лаборатории по исследованию озера Кинерет. Печатается в израильской и западной периодической прессе.

Дора ШТУРМАН. См. журнал № 30

Наталия АГРОСКИН, литературный критик и искусствовед. Родилась в 1950 году в Москве. Получила филологическое образование в МГУ. Изучала историю искусств в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. В Израиль приехала в 1974 году. В настоящее время заведует галереей молодых художников Иерусалимского театра и завершает диссертацию по литературоведению в Тель-Авивском университете.

Петр ВАЙЛЬ и Александр ГЕНИС. См. журнал № 31.

Михаил ДЕМИН. См. журнал № 35.

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1978 год

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

		номера журналов
Проза		
Алексеев В.	Смерть на заводе	34
Варламова И.	Мнимая жизнь	31,32,33
Галич А.	Блошиный рынок	25
Гиршович Л.	Мальчики и девочки	28
Гиршович Л.	Ишаягу	34
Дар Д.	Последняя любовь. Часовня в огне	27
Довлатов С.	Невидимая книга	25
Довлатов С.	Купцов и другие	28
Довлатов С.	Ищу человека	36
Кандель Ф.	Два рассказа	29
Львов А.	Собеседование	32
Львов А.	Золотая кровать	33
Меламид Л.	Ностальгическая баллада	30
Моргулис М.	Три рассказа	28
Моргулис М.	Уйти в дождь	30
Наврозов Л.	Воспитание Левы Наврозова	31
Нечаев В.	Одиноким сдается угол	26
Перельман В.	Банка Джорджес	30
Перельман В.	Двое и одна	36
Рыбаков В.	Мост Александра III	26
Рыбаков В.	Враг	35
Суконик А.	Умные и глупые	29
Цветков Е.	Паук-телепат	29
Чирсков Ф.	Андромер	27
Шифферс Е.	Давай, Акимушкин, давай!	26
Штерн Л.	"Двенадцать Коллегий"	34,35
Шульман С.	Тупиковая ситуация. Башня смерти	27
Поэзия		
Аз.	Баллады для Майи	29
Айзенберг М.	На снегу, у кочующих стен	35
Бокштейн И.	Мимика склепа	33
Бокштейн И.	Из причинности в чудо войдя	36
Бурихин И.	В суровую зиму я пробовал жить	26
Владимирова Л.	Пора предчувствий	26
Владимирова Л.	Будто на пороге перемен	31

Волохонский А.	Одно око	36
Гарик И.	Родившись в сумрачное время	29
Гарик И.	Не бойся, не надейся, не проси	31
Глазова М.	Безутешные воды вешние	30
Горбунова А.	Плыви, моя лодка	25
Губанов Л.	Победителей не судят	26
Жем Е.	Мысли плавают по дивану	33
Жигалов А.	Зеркальная мозаика	32
Иоффе Л.	Третий город	27
Карабчиевский Ю.	Грохот века	33
Крепе М.	Повороты пространства	29
Куприянов Б.	Горячий смех обугленного слова	28
Ливанов М.	Россия, где твои мыслители?	25
Мандельштам Р.	Зоревые каравеллы	27
Охапкин О.	В бронзовом нашем веке	30
Охапкин О.	Твоя во тьме защита	34
Сабуров Е.	Чувство города и дня	35
Сабуров Е.	Беспамятные наши души	36
Сапгир Г.	Сквозь боль и бред	32
Степанов И.	Майданек или Магадан	28
Филановская Т.	Мой дождь и я	34
Цветков А.	В этом Риме я не был Катоном	30
Публицистика, философия, критика		
Агроскин Н.	Русский авангард	36
Бирман И.	Советский режим: прогнозы и реальность	29
Вайль П., Генис А.	На аврале	31
Вайль П., Генис А.	Шампанское и политура	36
Вишняк В.	Несговорщик с антикультурой	31
Генис А., Вайль П.	На аврале	31
Генис А., Вайль П.	Шампанское и политура	36
Гусаров В.	В защиту Фаддея Булгарина	29
Домальский И.	Технология ненависти	25,26
Иошуа А.	Боль писателя (В переводе Д. Мазина)	28
Кестлер А.	Иуда на перепутье (В переводе М. Ледера)	33
Клепикова Е.	Пролог к действию	32
Клепикова Е.	У погоста русской деревни	35
Коган Э.	Происхождение предателя	25
Копелев Л.	От рода к человечеству	32
Мнацаканова Е.	Искусство и предрассудки	27
Нилов Г.	Из-под глыб — в небеса	35
Парамонов Б.	Орвелл: пророчество-репортаж	26
Прат Н.	Если только за себя	31
Прат Н.	Безумцы в безумном мире	34

Пятигорский А.	Пастернак и доктор Живаго	25
Соловьев В.	Кумир нации, или золова арфа	28
Соловьев В.	Василий Шукшин: мания правдоискательства.	34
Тартаковер А.	Либерализм, христианство и евреи (В переводе С. Цирюльникова)	36
Флейшхауэр И.	Двойная лояльность	30
Цветков £.	Хранитель Древностей	30
Цирюльников С.	Истоки кризиса	32
Штурман Д.	Минаевщина	27
Штурман Д.	"Этот самый человечный человек..."	28
Штурман Д.	Любовь без взаимности	30
Штурман Д.	Победа и крушение Ленина	32,33
Штурман Д.	Хаос вместо демократии	36
Эткинд Е.	Советский писатель и смерть	26
Эткинд Е.	Леонид Брежнев как писатель	30
Якобсон А.	Фрагменты из Марголина	29

День сегодняшний

Прат Н.	Час выбора	27
Цирюльников С.	На повороте истории	34
Цирюльников С.	Государство Израиль вместо сионизма	35

Круглый стол редакции

Кого защищает "Международная Амнистия"?	29
Спор о Иване Ефремове	33

Наши публикации

Письма Максимилиана Волошина	27,28
Стихи Введенского	29

Из прошлого и настоящего

Баазова Ф.	Дело Рокотова	25,26
Баазова Ф.	Танки против детей	30
Демин М.	Блатной	27,28
Демин М.	Таежный бродяга	35,36
Ларский Л.	"Здравствуй, страна героев!". . . .	29,30,31,32,33.
Хенчинский М.	Кслецкан трагедия. Загадка одного погрома	26
Штурман Д.	Моя школа	34

ANDREI SEDYCH
Editor in Chief

LAWRENCE WEINBERG
Business Manager

Novoye Russkoye Slovo

Oldest Russian Daily — Established 1910

243 WEST 56th STREET
NEW YORK, N. Y. 10019

Tel. 265-5500

SUBSCRIPTION RATES

EFFECTIVE DATE OCTOBER 1, 1978.

MAIL SUBSCRIPTION IN U.S.A. & CANADA

	1 year	6 ms	3 ms	lm
Weekday & Sunday	$60.00	$33.00	$20.00	$7.00
Sunday only	$25.00	$15.00		

MAIL SUBSCRIPTION FOR FOREIGN COUNTRIES ACCEPTED ONLY FOR:

	1 year	6 ms
Weekday A Sunday	$70.00	$38.00
Sunday only	$30.00	$17.00

CHANGE OF ADDRESS — $1.00

Please send payment together with your order.
Make check payable to the Novoye Russkoye Slovo.

MAIL SUBSCRIPTION for FOREIGN COUNTRIES:

TO EUROPE AND LATIN AMERICA:

1 year — Weekday & Sunday — $150.00, 6 ms — $90.00,

Sunday only — for 1 year — $75.00, 6 ms — $40.00.

TO ASIA, AFRICA & AUSTRALIA:

1 year — Weekday & Sunday — $180.00, 6 ms — $100.00,

Sunday only — for 1 year — $85.00, 6 ms — $45.00.

О ПОДПИСКЕ НА 1979 ГОД

С 25 октября 1978 года объявлена подписка на журнал "Время и мы" на новый 1979 год. Основываясь на том, что инфляция в 1979 году составит 45-50% и учитывая не только существующий, но и ожидаемый до конца 1979 года рост типографских, редакционно-издательских и почтовых расходов, принято решение установить на предстоящий 1979 год следующие подписные цены:

Полугодовая подписка (6 номеров) — 384 лиры. Возможна уплата в виде двух чеков, причем первый чек должен быть подписан на текущий месяц, а второй — на последующий (не позднее января).

Годовая подписка (12 номеров) — 684 лиры. Возможна уплата в виде четырех чеков. Первый — на текущий месяц, три остальных — на три последующих (последний — не позднее февраля).

В указанные выше цены входят все расходы по доставке журнала, а также отчисляемый редакцией в бюджет государства двенадцатипроцентный налог на дополнительную стоимость.

За рубежом устанавливаются следующие подписные цены:

В США и КАНАДЕ: на 6 месяцев — 24$, на 12мес. -48$. (авиапочта — 96).

ВО ФРАНЦИИ: на 6 месяцев — 99 F.FR., *на 12 мес. — 198F.FR. (авиапочта — 350).*

В ГЕРМАНИИ: на 6 месяцев — DM *46 (авиапочта — 88) на 12 месяцев —* DM *92 (авиапочта —176).*

Стоимость подписки установлена с учетом того обстоятельства, что "Время и мы" будет и в дальнейшем выпускаться как иллюстрированный литературно-публицистический журнал, выходящий каждый месяц, единственный журнал такого рода издаваемый на Западе.

Для своевременной бесперебойной доставки первых номеров журнала за 1979 год редакция просит оформить подписку до 20 декабря 1978 года.

Чтобы подписаться на журнал необходимо выслать заказ и приложить к нему соответствующие чеки — по адресу: П.Я. 24123 Тель-Авив или ул. Нахмани 62/9, Тель-Авив.

Подписной купон см. в конце журнала.

Объявляя подписку на 1979 год, редакция считает необходимым подчеркнуть, что введение новых цен в условиях существующего числа подписчиков и отсутствия субсидии со стороны государства является единственно возможной мерой для продолжения существования журнала. Со своей стороны мы сделаем все необходимое для того, чтобы еще выше поднять уровень журнала и сделать еще более интересным для читателя наше издание.

"ВРЕМЯ И МЫ" — 1979 год

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 384 лиры
на 12 месяцев — 684 лиры

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев — $ 24
на 12 месяцев — $ 48, авиапочта — 96

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 99
на 12 месяцев — F.FR. 198, авиапочта — 350

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46
на 12 месяцев — DM 92, авиапочта — 176

бланк для ПОДПИСКИ на 1979 год на обороте

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:
P.O.B. 24123, Tel-Aviv или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel** или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

В этом месяце у вас
окажутся дополнительные деньги
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ
«БРЕЙРА» ПОГАШАЮТСЯ

ПРЕВРАТИТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ В ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ

Запишитесь в одну из программ:

«Коах хай кифлаим»

Одноразовый взнос

Немедленный бонус в размере 10%
Проценты и прикрепление к индексу цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

Ежемесячные взносы

Немедленный бонус в размере 5%
Проценты и прикрепление к индексу цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

«Коах Брейра долларит»

Одноразовый взнос

Немедленный бонус в размере 6%
Проценты и прикрепление к индексу цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

Ежемесячные взносы

Немедленный бонус в размере 3%
Проценты и прикрепление к индексу цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

В обоих случаях — прикрепление к индексу цен или курсу доллара — в зависимости от того, что более выгодно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ — ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА «ЛЕУМИ», БАНКА «ИГУД» И БАНКА «АРАВИ-ИСРАЭЛИ».

BANK LEUMI
LE-ISRAEL B.M.

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул, Нахмани, 62/9
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmanist. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка — Давид Титиевский, апрель 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки — Аврахам Натон "Рыбаки"
Масло на холсте.**

Фото, опубликованные на первой и четвертой страницах обложки, а также в разделе "Вернисаж "Время и мы" взяты из альбома "Художник и общество 1948—1978" (Тель-Авивский музей).